

Борис
ЯМПОЛЬСКИЙ

Арбат, режимная улица
роман



ImWerdenVerlag
München 2006

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая: Квартира

Табор	5
Свизляк	7
Голубев-Монаткин	10
Айсоры	12
Террористка	14
Бонда Давидович	17
И другие... ..	18
Овидий	20

Часть вторая: Бесконечный день

Глава первая	24
Глава вторая	34
Глава третья	40
Глава четвертая	43
Глава пятая	49
Глава шестая	58
Глава седьмая	63
Глава восьмая	71
Глава девятая	76
Глава десятая	80
Глава одиннадцатая	83

Часть третья: Вечерние огни

Глава двенадцатая	85
Глава тринадцатая	88
Глава четырнадцатая	90
Глава пятнадцатая	93
Глава шестнадцатая	97
Глава семнадцатая	99
Глава восемнадцатая	102
Глава девятнадцатая	106
Глава двадцатая	112
Глава последняя «ХРАНИТЬ ВЕЧНО»	117

Что же случилось тогда? Что произошло в том кабинете, высоком и чистом, как зал крематория, когда была произнесена моя фамилия?

— Арестовать!

И молодой, еще совсем зеленый, только кончивший спецшколу лейтенант, недавно женившийся на москвичке и еще даже не имеющий своей жилплощади, а живший вместе с родителями жены и свояченицей и ее детьми в тесной коммунальной комнатухе за шкафом, и, несмотря на это, аккуратный, с белейшим подворотничком, и даже пахнувший одеколоном, отложив в сторону книгу, своим молодым и самоуверенным почерком, за красоту и четкость которого попал на эту должность, любуясь, выписал ордер, очень красивый. И это чистое произведение каллиграфического искусства, подписанное начальником отдела, чья подпись похожа была на разогнавшийся курьерский поезд и утверждена высшим начальством, чья подпись была уже только с завитушками, и завизированное таким высоким начальством, что даже фамилии своей не выводил, а ставил только закорючку, знак иерархии, иероглиф, означавший «согласен», занесли в книгу и пустили куда надо.

И накануне во двор пришел установщик.

— Как там старая курва, Фортунатовна, все водит? — для разгона начинает установщик.

— Бывает, — сдержанно отвечает дворник Овидий, получивший накануне у Зои Фортунатовны пол-литра свежего денатурата.

— А этот зеленый змий Музычук? — продолжает установщик.

— В мертвую, — радостно отвечает Овидий, обиженный тем, что Музычук сам все до капли выпивает, даже взглянуть не дает, и сам и бутылки сдает.

— А этот тип? — между прочим, безразлично и как-то задумчиво-отвлеченно спрашивает установщик. — Патлатый...

— Какой этот? — отводя глаза, недоумевает Овидий.

— Ну, этот, который гордый, ученый, — уже ближе подходит установщик, тоже отводя глаза. — Фамилию его все забываю, на К.

— А, понятно, — определяет Овидий, — третий день не видно.

— Не ночует?

— Может, в командировке? — делает Овидий предположение.

— Нет на месте, — доложил установщик.

И подполковник, майор, а может, и капитан, не глядя, не задумываясь, ордер временно перечеркнул, и это был росчерк, равный росчерку Создателя, линия от небытия к жизни, между которыми пучина, непостижимость.

Потом нахлынула новая кампания, новые враги, и те, что вчера были врагами, не злободневные, совсем не играют в новой конъюнктуре, совсем не ценятся, и в проценты не входят, и никуда не вписываются, и нет за них ни наград, ни поощрений, ни компенсаций.

Или, может быть, было так:

— Все занято, подсобка, пересылка, и машин нет.

И тогда тот, в стальной гимнастерке, в той высшей, стальной, коверкотовой, пахнущей одеколоном «Шипр», каким душитесь высший комсостав внутренних дел, мимоходом, холено-небрежно бросил:

— Сократить!

И это слово, твердое, короткое, одно из двухсот двадцати тысяч современных русских слов, не лучше и не хуже других, которое, конечно же, имеет свое происхождение, свой корень, спрягается, имеет приставку, суффикс, именно в этом повелительном наклонении сказанное в том кабинете, высоком и чистом, как слово Бога, подарило мне во второй раз жизнь.

Часть первая Квартира

Теперь, когда прорубили широкий, уходящий в небо проспект, Арбат остался забытой где-то в стороне тихой узкой улочкой, которую пешеходы, словно это в Жлобине или Кобеляках, перебегают, где хотят, а когда-то это была очень строгая улица, по которой, говорят, Сталин ездил на ближнюю дачу.

Старый Арбат, с Кривоколенными, Николопесковским, Серебряным переулками, с Молчановкой и Собачьей площадкой, с Сивцевым Вражком и с церковью Бориса и Глеба, со всеми своими особняками, барскими каменными хоромами, почерневшими бараками первых пятилеток, бетонными коробками, с установившимися запахами, со своими старушками в салопях и шляпках, с детьми-пионерами в красных галстуках, — старый Арбат жил не видной глазу, скрытой, режимной жизнью, где каждый дом, каждый подъезд, каждое окно заинвентаризировано, за всеми следят, всех курируют.

Начиная от знаменитой «Праги», которая давным-давно была уже не «Прагой», а набита конторами и конторочками, с глухим заколоченным парадным подъездом и пустынной плоской крышей, где еще долго после войны валялись гильзы зенитной батареи, и родилось, и выросло поколение, которое и не знало, что тут был прославленный ресторан «Прага», — так вот, начиная от «Праги» до Гастронома на Смоленской, улица как бы имела второе лицо. Веселый магазин шляп в «Праге», на углу, и писчебумажный на углу Серебряного переулка, пахнущий школой, готовальней, чистой линованной бумагой, «Детский мир» с пузатыми разноцветными матрешками, и зоомагазин с оранжевыми рыбками в аквариумах и запахом помета и пуха птичьих мучений, и антикварный с золотыми вазами с изображениями египетских фараонов и римских легионеров, и восстановленный после бомбежки театр Вахтангова с афишей «Два веронца», и кино «Юный зритель» с рекламой кинокартины «Клятва». А поверх этого как бы наложенный на улицу теневой силуэт, как блуждающая маска, вдоль всей улицы, — строгая, загадочная и молчаливая цепочка: зимой в бобрике и ботах, а летом в апашках и дырчатых сандалетах. В метель, и в дождь, и в туман, и когда цветет сирень, и цветет жасмин, и в листопад, на рассвете, когда выходят первые троллейбусы, и в часы пик, и в час театрального разъезда, и в час инкассаторов, и в новогоднюю ночь, и в пасхальную ночь, и в первомайскую ночь, вчера, и сегодня, и завтра — всегда — молчаливая цепочка на Арбате.

Они стояли вдоль всей улицы, избегая света фонарей, на углах переулков или у подъездов, притворяясь жителями дома, и смотрели на проезжую часть. Они стояли как-то одиноко, отдельно, автономно и будто вспоминали что-то забытое, весь день и всю ночь вот так стояли и вспоминали что-то забытое. Но вдруг их охватывала лихорадка. Красный свет зажигался одновременно на всех углах, и ревели в больших металлических коробках милицейские телефоны, цепочка выходила на кромку тротуара, и будто посреди улицы открывался оголенный провод, и весь Арбат со всеми его

витринами, манекенами, завитыми головками, будильниками, муляжами, золотыми рыбками и канарейками в клетках стоял под высоковольтным напряжением.

Табор

Это была одна из тех барских квартир, каких много в старых арбатских особняках, квартира, которая занимала целый этаж, с большими венецианскими окнами, двумя входами — парадный с широкой беломраморной лестницей, на которой некогда лежал ковер, а теперь ступени давно потемнели, были сбиты, заплеваны, обшарпаны, — и черным кухонным, с узкой железной лестницей, на которой пахнет не только помоями, ворами, но бегают живые крысы.

Все было как везде: грохочущая и замызганная холуйская черная лестница, и облупленные до дранки стены, и пыльная, несчастная, голая экономичная лампочка с багрово-потухающей нитью накала, и двери, изрезанные любовными и нахальными надписями, и цементный кухонный пол, и в саже кухонный потолок, так что расписанные на нем амурсы и вельможи казались грешниками в аду; ванная, в которой хранились капуста и картофель, а потом стояла постель молодого начинающего и обещающего быть гениальным художника, и карболочный вокзальный туалет, к которому в зимние темные утра, когда все просыпаются поздно и все спешат на работу, выстраивалась очередь, и скандалы, и интриги, и с некоторых пор комиссия содействия домоуправлению стала с вечера раздавать порядковые номерки.

Давным-давно, пожалуй, с тех пор как хозяин особняка, чайный фабрикант, сбежал от революции в Париж, ни маляры, ни плотники, ни кровельщики не касались стен дома, и давно отпала гипсовая лепка, и фигуры ампира стояли в розовой тифозной сыпи, а кое-где даже провалились потолки, открыв деревянные балки. Если приходили гости и танцевали, дом содрогался и хозяева умоляли: «Тише, а то сейчас снизу прибегут insultники». А в дождь население выносило на чердак ведра, тазы и кастрюли, в комнатах и коридорах был потоп, а на водосточной трубе выросли шампиньоны.

Только под 1 Мая приходили маляры с длинными кистями и, висая в подвешенных к крыше люльках, распевая песни, красили фасад в старый, барский фисташковый цвет, правда, не в чистый, благородный фисташковый XVII века, а в несколько грубый, несколько нахально-яркий, аляповатый, но все-таки не суриком, не охрой, не камуфляжного цвета воздушной тревоги. Дождь скоро смывал эти румяна, и дом стоял, как пожилая красуля, вдруг вздумавшая румянить щеки, и слезы текли грязными старческими подтеками. Но приходил новый Первомай, или вдруг приезжал знаменитый и небывалый иноземный гость, и снова под окнами распевал маляр. Потом приезжала машина, и монтер менял разбитые в зимнюю стужу молочные шары, выворачивал погасшие, перегоревшие лампочки, и ночью снова ярко светил фонарь, и казалось, наступает новая жизнь. Но ничего не изменяется. И все так же шумит, скандалит, женится и разводится, рожает и умирает разноязычный табор коммунальной квартиры.

На высоких массивных старорежимных дубовых дверях, где некогда была одна жарко начищенная медная табличка, теперь многочисленные звонки и кнопки с детально выписанными указаниями и вычислениями длинных и коротких звонков.

Откроете дверь, изнутри висят на веревочках картонные визитные карточки — «Черномордиков дома» «Цулукидзе дома», «Свизляк — на службе», «Лейбзон дома», «Кнуныанц в командировке».

А потом широкий, темный, пропахший нафталином, свечными огарками, мышиным пометом коридор, весь заставленный старыми рассыпающимися шкапами с ненужными книгами, окованными железными полосами сундуками, о которые вы всегда обиваете себе колени какими-то тюками и корзинами, набитыми всякой ветошью и дребеденью, а может быть, даже камнями, лишь бы там что-то стояло, лишь бы мешало людям жить. Тут же цинковые корыта, похожие на детские гробы громадные оранжевые и голубые бутылки, в которых черт те что хранится, сверкнет старый горбатый самовар дамский велосипед, из колеса которого обязательно торчат острые спицы, засохший фикус, и стоит даже бог весть откуда взявшееся, давно изъеденное молью чучело медведя, который по-отцовски коснется вас и вы вздрогнете от неожиданности, словно именно вас он и дождался в этом коммунальном лесу.

В общем, сюда выставлено все, что не нужно никому, но только тронь или чуточку передвинь с места... А бывает, еще посредине висит на протянутой веревке белье, которое бьет вас мокрыми штрипками по лицу.

В коридор выходили высокие и широкие двери с дубовым узором, и на вешалках висели старые, еще гражданской войны шинели, бекеши, еще старорежимные салопы, шушуны, и казалось, у стены, прижавшись, стоят и ждут своего часа краскомы, чекисты и старухи бабы-яги.

За дверями орало радио, или играл патефон, или плакали, или пели, или били посуду, или царствовала такая тишина, что становилось страшно, и пахло то жареной воблой, то столярным клеем, то лекарствами, то сивухой, то гримом или ужасной, необратимой пустотой.

Совместная жизнь настраивала всех на одну волну. Иногда в квартире стояла мертвая тишина, но стоило только кому-то закричать, как во всех комнатах начинался шум, все вспоминали обиды, оскорбления, боль...

Как во всякой большой, крикливой и суматошной московской коммунальной квартире, которая, впрочем, ничем не отличалась от такой же ленинградской, или киевской, или одесской квартиры, разве только тут было еще теснее, населеннее и резче запах чада, стирки, сортира, потому что, переделанные из бывших контор, магазинов, тюрем, они были менее благоустроены и приспособлены к человеческой жизни, рождению детей, болезням, свадьбам, смертям — как и во всякой коммунальной квартире, тут жил самый разнообразный, смешанный, пестрый, никак не понимающий и не сочувствующий друг другу люд.

Не они выбирали тут местожительство, никто специально их и не поселял, а поселились они хаосом, неразберихой бурного времени революции и гражданской войны, загнанные сюда разрухой, пожарами, экспроприациями, грабежами, мобилизациями, и, поселившись, крепко привязавшись к чужому месту, голодовали, бедовали и плодились, как кролики.

Кое-кто жил здесь давным-давно, еще с тех времен, когда и ордеров не было, а только классовое право, классовое чутье. Уже и не было того, кто вошел сюда по закону реквизиции и уплотнению, а жили и расплодились его потомки, выписали родственников из деревни и маленьких местечек. Но были и такие, которые не имели никакого отношения к тому, кто некогда вошел сюда по классовому закону и занял подобающую жилплощадь господствующего класса, а такие, что фальшиво женились и прописались, а потом даже не разводились, а просто спровадили милую невесту или дождалась смерти старух, изо всех сил помогая этой смерти. Но были и такие, которым и фиктивный брак не понадобился. Они прописались неизвестно как и почему и на каком основании, но в домовое книге появились их фамилии и были поставлены все печати, наклеены все нужные гербовые марки. Все у них было в порядке, в ажуре.

Но были и такие, которые и прописаны не были, просто жили, просто втерлись и жили годами.

Нет, не играли они никогда теплой компанией в лото или в трик-трак, не составляли совместной пульки, не собирались на посиделки полужгать семечки и никогда, никогда не ходили друг к другу в гости на варенье, соленье, на маринованные грибы или семейную наливку. Если даже была свадьба, или именины, или просто вечеринка, приходили с другого конца города, но из соседней комнаты, из-за фанерной перегородки не заглядывали, а если слишком шумели, то из-за этой перегородки стучали щеткой в стенку, так что сыпалась штукатурка и отклеивались обои, а бывало, и выходили в коридор и делали последнее предупреждение или просто без предупреждения приводили участкового.

Да, жили тут разные люди и разны они стоили. И как во всяком сообществе людей, были и свои сумасшедшие, и свои верховоды.

Вот роль верховода играл тут Свизляк, тучный, зубастый мужчина, с кирпичным лицом, сивым жестким ежиком Керенского и развязными ногами кавалериста, хотя он ни разу не сидел в седле на лошади, а всю жизнь провел, обнимая мощными мускулистыми ляжками канцелярский стул в министерстве.

Свизляк

Создатель не поскупился на него. Судя по величине и количеству костей, по этим мослам, по огромному черепу, природа, видимо, задумала сначала что-то более громоздкое, носорога или верблюда, но в последний момент что-то случилось или, может, обнаружилась нехватка лимитированных хрящей, и вот она слепила и выпустила на свет Свизляка, оставив только носорожий заряд амбиции, зависти, коварства в его животной неистощимости, и пошел он гулять со своим дыханием и запросами, а тут еще попал в клетку коммунальной квартиры, и низки были все притолоки, и когда он входил, то сгибал голову и все вокруг ему казалось крохотным и ничтожным и хотелось разнести в щепы.

В каком он служил министерстве и что он там делал, чем занимался те десять часов, которые отсутствовал дома, никто не знал, а он почему-то тщательно скрывал и ни разу не проговорился, считая это государственной тайной, и когда его об этом спросят, он только скосит глаз и взглянет подозрительно, словно ему задали вопрос о дислокации, в лучшем случае усмехнется и скажет:

— Где партия и правительство поставили, там и работаю.

Хотя точно было известно, что в партии он не состоит и никогда не состоял, однако заявления писал чаще, чем кто-либо из членов партии, и сослуживцам его, очевидно, жилось несладко, судя по тому, что он рассказывал жене за ужином, как «поставил на место товарища Каплана», и что он еще «доберется до товарища Щепкина» и «проверит классовое происхождение Брокгауза»; а не родственник ли он Брокгаузу и Ефрону, которые выпускали небезызвестную энциклопедию?

В годы нэпа, говорят, он в каком-то небольшом губернском городе открыл свою собственную мастерскую по починке несгораемых шкафов, имел золотишко, и жемчуга-бриллианты, и иностранную валюту. Но в первые же годы реконструкции и социалистического наступления быстро перестроился, исчез из губернии в Москву, нашел угол и очень быстро и ловко вытурил из всех других углов законную их владелицу, стал носить бриджи и толстовку и брезентовый портфель инспектора и даже чуть ли не вступил в партию, но в это время началась чистка, прием приостановился, и он одумался рисковать. А когда чистка кончилась, он уже не подавал заявления, а

решил остаться навсегда беспартийным большевиком и, не неся бремя ответственности и членских взносов, помогал партии разоблачать врагов народа, двурушников, подкулачников, идеологических диверсантов, оперативно откликаясь на все текущие призывы и кампании, на все субботники и воскресники, и хотя сам не любил работать, но следил, чтобы никто не отлынивал, не жил в отрыве от общественной, текущей жизни, скрываясь в единоличной скорлупе, в башне из слоновой кости, хотя свою ячейку, свои соты строил крепко, надежно, индивидуально, не надеясь на помощь и победу коллектива.

Едва только он в своей мокрой собачьей куртке и высоких охотничьих, пахнущих дегтем сапогах, с огромным старым разбухшим портфелем являлся домой, тотчас же, не успевал он снять куртку и кинуть портфель и крикнуть дочери: «Ляля, не распыляй время!», — начинал пилить, строгать, стучать.

Свизляк обожал чуланчики, каморки, сарайчики. Где только есть свободный, а то и несвободный угол, тотчас же устроит загородку и забьет всякой ветошью. Подвал и чердак он давно освоил и разгородил, напихал старыми стульями с разодранными соломенными сиденьями, старыми матрацами с выскочившими пружинами, старыми желтыми корзинами с книгами и газетами, повесил всюду здоровые амбарные замки, и кто ходил в подвал или на чердак вешать белье, вечно разбивал лоб об эти ржавые, злые замки.

На время войны Свизляк уезжал в эвакуацию, ибо как раз в этот момент жизни у него обнаружили каверны в легких. Это было видно на рентгеновских снимках, он носил эти снимки с собой и всем показывал, как свою фотографию, и в квартире, и у себя в учреждении, и даже в других учреждениях, куда он обращался по своим делам и заботам. Может быть, так оно и было, но я в это не верил. Когда он орудовал топором и лопатой, когда он взбегал по лестнице одним махом, когда утрами отфыркивался у раковины, когда сидел за столом и, раздирая руками гуся, ужинал, в нем не чувствовался смертельно больной.

Но во всяком случае 16 октября он срочно отбыл в эвакуацию и не забыл предварительно закрыть все свои курятники на амбарные замки. Конечно, в холодные годы войны их разбили и растаскали на топливо, и когда Свизляк прибыл из эвакуации в защитной сталинке — в габардиновой гимнастерке и синих диагоналевых галифе — краснолицый, загорелый на иссык-кульском солнце, с тюками урюка, он тем же голосом, тем же манером, каким в начале войны говорил: «Это вам не мирное время», стал теперь говорить: «Это вам не военное время». И делал все, что хотел и что ему было выгодно.

Ему пришлось начать все сначала, и все вечера он строгал и стучал снова, сбивая свои чуланчики. Однажды ночью он отрубил даже кусок от кухни, и когда утром все проснулись и явились на кухню с кастрюлями и сковородками, то увидели закрытую на большой висячий замок новую каморку. Потом та же участь постигла и общий коридор, и тут он ухитрился отрезать кусок и устроить ловушку-загородку и повесить замок. И когда уже решительно нечего было больше отгораживать, он буквально полез на стену и отрубил кусок коридорчика уже не по вертикали, а по горизонтали, и устроил висячий антресольчик, и запихал туда какие-то кошелки, какие-то старые полущубки и изгрызанные мышами книги, всякие «Спутники агитатора» и брошюры по НОТу двадцатых годов.

В маленьком этом темном коридорчике, у самой моей двери, на гвозде висела его пышная длинноволосая собачья куртка, принявшая его могучий облик. От нее пахло сыростью и псиной, и когда он выходил из комнаты, то так же пахло и от него, от его подтяжек, подмышек, от его улыбки и взгляда.

С ним жила жена, крохотная, замученная женщина с несчастным засушенным личиком, которой он все время твердил: «Не ходи на цыпочках, ходи на всю ступню, это раздражает».

День и ночь ему хотелось все разнести в клочья, все его раздражало, и так как эту энергию нельзя было всю вложить в заколачивание гвоздей, то она пошла по другому направлению и стала выливаться с кончика пера. И это дело, деликатное и, на первый непривычный взгляд, даже легкое, чепуховое, веселое, оказалось работой тяжелых грузчика — тут уже надо было иметь сердце даже не носорога, а экскаватора. В конце концов это надорвало его, но уже позже, гораздо позже, а до этого нужно было случиться катаклизму, по сравнению с которым извержение Везувия, землетрясение на Японских островах, средневековая чума, и инквизиция, и другие страхи, и штуки Ирода были просто куриным пометом.

Никто не знал, какой он силой обладает и до чего может дойти, но все почему-то были уверены, что он все может сделать, и не испытывали судьбу, и не доводили до кипения, и сдавались угрозе. И он с каждой кухонной, коридорной победой становился все нахальнее, и требовательнее, и, когда на лестнице раздавались его тяжелые и звонкие шаги, его шумное дыхание, будто дышала сама собачья куртка, на кухне становилось тихо.

Соседкой его была тихонькая, робкая старая дева Любочка, которая жила в своей комнатке-гнездышке, среди пышных плюшевых кресел, как мышь в норе, и которой не касались штормы и электромагнитные волны современной жизни и собраний, и которая до обморока боялась его взгляда и дыхания и от звука его голоса теряла сознание.

В комнатке ее жил еще и еж, а у окна стоял большой, похожий на подводный грот аквариум с золотыми рыбками.

Это нам кажутся все рыбки одинаковыми. А для нее каждая была личностью, со своим характером, со своим норомом, были рыбки кроткие, ленивые, были шалуны и капризули, были всеядные и рыбки-гастрономы. И каждую она нарекла, как человека, именем.

Длинная, стремительная вертихвостка была Василий. Толстая, сонливая рыбка была Тарас. Маленькая, юркая, хищная, на лету хватающая корм, была Валентин...

Для них тоже все люди были на одно лицо, только хозяйка их была другая, в темноте они узнавали ее силуэт, ее фосфоресцирующее лицо и на ее певучий голос откликались. И стоило только ей позвать: «Василий, Василий!», как Василий тотчас же бросал все суетные дела свои в длинных, извивающихся водорослях, подплывал к стеклянной стенке и уставлялся выпученными холодными глазками: «В чем дело? Я тут!»

Каждый день ранним, ранним утром, когда квартира еще спала, и вечером после работы она кормила свою золотую гвардию, и из-за двери слышалось: «Василий... Василий... Ап!.. Тарас... Тарас... Тарас... не зевай! Валентин... Валентин, брось свои хулиганские трюки!..»

И Свизляк все это учел.

Однажды зимним вечером, во время очередного кормления Любочка зачем-то внезапно открыла дверь в кухню, и от дверей, грохоча сапогами, отскочил пузан в габардиновой гимнастерке с широким военным ремнем.

— Вы, конечно, извините, — сказал управдом, — но поступили сигналы. У меня режимная улица, а у вас без прописки живут каких-то два Василия, один Тарас и один Валентин.

На что уж Голубев-Монаткин — политически самоуверенный подпольный товарищ, еще в двадцатые годы незапятнанным прошедший через все дискуссии и чистки

и лишь по какому-то дикому, конъюнктурному недоразумению вышедший в тираж, знавший все политические входы и выходы, имевший природное классовое чутье, ибо происходил из крестьян-бедняков Сасовского уезда, Рязанской губернии, но даже и он своим исконно природным чутьем понимал, что Свизляк — кулак и примазавшийся, колеблющийся элемент, который бы служил и лизал так же и при Керенском, и Врангеле, и батшке Махно, при английской королеве Елизавете или японском микадо Хирохито, если бы они могли дорваться до власти в России. И он старался не связываться со Свизляком, не то что боялся или трусил, а просто сторонился и с высоты своего подпольного прошлого как бы не замечал его нахального существования, не вступал с ним ни в какие дискуссии, а тем более кухонные обмены мнениями, оставляя даже часто без ответа его несвоевременные высказывания. Стоя вполоборота и слушая вполуха, выпятив вперед губы с миной: «Все это болтовня, глупости, политическое недомыслие», — Голубев-Монаткин корректно плевал в его сторону, и растирал ногой, и уходил в свое глубокое, классово-партийное понимание событий и очередных задач.

Голубев-Монаткин

Крепенький, жилистый, чудовищно носатый старичок, все лицо — и щеки, и лоб, и даже, казалось, уши ушли в толстый хрящеватый нос. Можно было подумать, что давно, в самом раннем детстве, кто-то решительно взял его мягкое младенческое лицо в жменю и с досадой сжал. Но, присмотревшись поближе, можно было увидеть, что это — только поверхностное представление, что все именно так было задумано природой и все черты лица по плану стремились, симметрично стягивались к носу, как к своему средоточию, своему высшему самовыражению, чтобы составить это надменное, самоуверенное, самолюбивое, ничего, кроме своего носа, не признающее лицо, лицо-нос, лицо-апломб.

Да и весь он, крутенький, ожесточенный, низкого росточка, в бурках на повышенных каблучках, был похож на ходячий нос, на который напялили защитный картуз и пустили по улице, чтобы чихал и сердился, и всех учил, и, когда надо и не надо, злобно сжимал в кулачки свои короткие, крепкие ручки, сообщая всем, кто этого еще не знал, что он всегда принадлежал и сейчас принадлежит и будет принадлежать к тем, которые командуют, а не к тем, которыми командуют. И сознание этого было в том, как он смотрит на вас сверху вниз, как со значительной миной слушает, небрежно и брезгливо, как отвечает — кратко, отрывисто, не вдаваясь в объяснения и подробности, — или просто молчит: «Вы мне не по уровню», — и уходит, не кивнув, не простившись, твердо отпечатывая шаги.

Всегда у него был такой вид, будто он знал что-то такое, чего никто, во всяком случае, в этой квартире, среди этого жадного, лукавого, мелодичного, погрязшего в разврате мещанства, кухонного сброда, не знает и не может знать, будто он хранил какую-то важную государственную тайну, которой невозможно не только поделиться, но при знании этой тайны даже опасно стоять с кем-то рядом.

И хотя он уже давно не был у дел, не входил в кабинет, отделенный от мира, от сомнений и пересудов темным тамбуром и двойной, обшитой дерматином, клеенкой или кожей дверью, по ковру к служебному столу, к которому приставлен другой, длинный стол для заседаний, давно уже не формулировал, не давал указаний, не советовал, не приводил в чувство, в идейную зрелость, не подымал на кампании, на идеологическую борьбу, — это выражение превосходства, всезнания, как припаянное, никак не хотело сходить с его лица. И похоже было, как будто он с этим выражением родился некогда в пятистенной деревенской избе, на широкой печи, и теперь оно,

одубелое, окаменелое от времени и к тому же еще оттененное обидой, невниманием, незаслуженной отставкой от дел, еще более обнажилось. Голубев-Монаткин и сейчас щепетильно следил за текущей политикой, за всеми передвижениями вверх и вниз, и получал по подписке не только «Правду», но и «Советское искусство», и «Культуру и жизнь», ибо очень интересовался литературой и искусством, и не так новыми шедеврами, как новыми решениями; кто и как провинился, и ошибся, и получил по башке, с кого снимают стружку, а кто, наоборот, в фаворе, и что сказал писатель А. Фадеев или художник А. Герасимов.

Ту же «Культуру и жизнь» приносил с собой и Свизляк, который как раз в те дни тоже очень интересовался литературой и искусством, и как бы они ни были отчуждены и даже враждебны друг другу, но, увидев в руках у Свизляка эту щуплую, на тонкой бумаге газету, Голубев-Монаткин одобрительно хмыкал и иногда, особенно во время разгара космополитизма, до того снисходил, что даже подмигнет Свизляку: «Ознакомились?», — на что Свизляк, сердитый и ненавидящий Голубева-Монаткина за то, что этот гранит не поддавался его зубам, тоже откровенно подмигивал одним глазом: «Дают!»

Но вообще ни с кем в квартире Голубев-Монаткин не разговаривает и даже не здоровается. Рано утром, выпив несколько стаканов кофе с цикорием, который очень любит, он надевает свою старую зеленоватую бекешу с барашковым бортом и белую папаху и, ни на кого не глядя, уходит из дому неизвестно куда. Некоторые сообщали, что видели его в сквере дремавшим, с газеткой на коленях, другие говорили, что, наоборот, он непрерывно ходит-бродит, считая это цементом здоровья, третьи — будто видели его в библиотеке, где он что-то выписывал из старых желтых газет, а некоторые уверяли, что он уходит в Сандуновские бани и проводит там полдня на полке, а в перерывах играет в шашки и пьет морс.

Во всяком случае нет его до обеда, а ровно в два придет и опять, ни на кого не глядя, словно и не на что глядеть, умоет над кухонной раковиной руки и сядет за стол, постукивая ножом, сообщая этим, что ждет обеда. А когда подавали суп, захватив тарелку лапую, урчал. Отобедав двумя блюдами с закуской и компотом, с той же газеткой ляжет на кушетку, укроет лицо от мух и захрапит так, что не слышно телефонного звонка.

— Мне надоело слушать твой свинячий храп, хоть бы ты сдох, — говорит ему супруга, толстая, рыхлая, сырая женщина, боевая подруга жизни.

— Как у тебя глотка не лопнет, — отвечает Голубев-Монаткин.

Слова он выговаривает медленно, ясно, веско, словно читает приговор.

И, опять сев за стол, он стуком ложечки об стакан; сообщает, что ждет чая, потому что днем он пьет только чай. Высосет три стакана очень сладкого чая, да еще с вареньем, и опять, захватив ту же газетку, уйдет и вернется поздно, когда все спят. На столе его ждет холодный ужин, он его аккуратно съест и перед сном опять же почитает ту же газетку и ляжет спать, и ночью почему-то не храпит, а спит тихо, а может, и совсем не спит.

В 1920 году в Баку, в подвале ЧК, Голубев-Монаткин расстрелял восемнадцатилетнюю девушку. Она стояла у стены, и когда он поднял наган, она разодрала на груди платье и крикнула: «На, стреляй, гад!» И вот уже тридцать лет является она по ночам и глядит ему прямо в глаза: «На, стреляй, гад!..»

Но, несмотря на это, Голубев-Монаткин никак и ни за что не мог и не хотел отвыкнуть от своей громкой прошлой жизни, и когда утром выходил из комнаты в коридор или на общую кухню, сердитый, напыщенный, то, казалось, удивлялся, что никто не уступал ему дорогу, не жался к стене, не улыбался, не льстил, не спрашивал, как самочувствие, ничего от него не хотел, и не ждал, и не просил. Хотя он-то не был в настро-

ении слушать, вникать, давать спуску, ибо он не верил в другие средства убеждения и повинования, как только держать в кулаке, в ежовых рукавицах, в шорах, в шенкелях, без рассуждений, без всяких дискуссий, обсуждений, симпозиумов. Без мягкотелости, слюнтяйства, мелкобуржуазной распущенности, фарисейства. И все это проникло, так пропитало все его существо, все его черты, голос, походку, въелось не только в его характер, но глубже, в кость, в кровь, в гены, в хромосомы, что казалось, будь у него дети, они сразу родились бы не только вот такими носатыми, хрящевидными, но и высокомерными, всезнающими выкормышами, только разве росточком с наперсток, и, даже не обучаясь ни в какой школе, не зная еще азбуки и таблицы умножения, уже судили бы обо всем с апломбом и учили всех идейности.

Айсоры

В первой от входа, самой большой комнате, с широкой, некогда стеклянной дверью, даже не в комнате, а в зале с толстыми румяными амурами на стенках, с огромными венецианскими окнами, которые вдруг сразу озарялись зеленым сиянием троллейбусной вспышки, проживала большая, шумная и вздорная семья-муравейник: деды, бабки, зятья, деверья, племянники, двоюродные и троюродные братья и сестры, и все чернявые, курчавые, крикливые, очень похожие друг на друга.

И к ним еще приезжали из разных дальних и близких городов и просто приходили в гости из разных районов, и все такие же чернявые, курчавые, азартные, приставучие и настырные, и иногда казалось, что они тут оставались жить, мельтешили, меняясь паспортами, и не только участковый или дворник, но и соседи, и, пожалуй, они-то сами не могли разобрать, кто есть кто.

И все это жужжало, как шмелиное гнездо: то разбуженное вдруг взревет, то попритихнет, но чаще всего жужжит постоянно, ровно, и в этом жужжании — и хрип радиоточки, и треньканье цыганской гитары, и ленивое переругивание шальных, с лукавыми хитрыми глазенками ребятишек, и постоянная работа мясорубки, которую они почему-то держали в комнате, и стук-постук — чего-то там они строгают, пилят и вечно ладят, — и еще какое-то непонятное, странное гудение, словно там действовал челнок самодельной ткацкой машины или, может, самогонный аппарат, и еще будто кого-то стригли машинкой, и он вскрикивал.

Спали в два и даже три этажа на нарах, и всегда кто-то храпел и стонал во сне, а остальные в это время ссорились, пели, чавкали, а черная тарелка репродуктора «Рекорд», не желая ничего этого знать, бубнила про свое.

Уже с самого раннего утра зимой, еще в полной темноте, когда люди только просыпаются, так уже рычал, дребезжал хриплый, разухабистый патефон, и уже беспрерывно крутился он весь день и пел жарким, зовущим голосом, звал на Гвадалквивир. Обезумевшая тупая игла, как гвоздь, кружилась и царапала заигранную и переигранную пластинку.

Говорили, они айсоры, а кто такие айсоры, что это за нация, племя, откуда они взялись и расселились по всем городам и городишкам России, от бульвара Фельдмана в Одессе до Золотого Рога во Владивостоке, и замахали пушистыми сапожными щетками, никто этого толком не знал, да вряд ли они сами это помнили.

Откуда они взялись, где их настоящая родина, ведут ли они свой род из Ассири-Вавилонии или откуда-то поближе? Говорили они на странном, невысказанном наречии, удивительно перемешивая какие-то тарабарские слова с русскими словами и жаргонными словечками. Но счет деньгам всегда вели по-русски.

То они распространились по всем ближайшим уличным перекресткам, восседая в самодельных будках среди разноцветных шнурков, ваксяных коробок и гирлянд белых стелек, и чистили обувь, быстро мелькая щетками; то, когда началась война и было не до глянца туфель, они рассыпались по всем рынкам и торговали с рук старой ветошью, военным пайковым хлебом, водкой, сахарином, сульфидином, медалями «За отвагу»; то, когда снова пришли мирные дни, их можно было встретить у всех ближайших станций метро — зимой с первыми мимозами, весной с тюльпанами и ландышами: «Нарциз! Нарциз!»; а поздней осенью — с перчатками, варежками, шарфами: «Импорт! Экспорт!», «Экспорт! Импорт!»

Они появлялись, шумные, прилипчивые, крамольные, непутевые, немедленно всюду, где был перекресток, толкучка, очаг дефицита и пахло свежим рублем, будь это мимозы, бюстгальтеры, карамельные петушки или игрушки «уйди-уйди», и неважно, привозилось ли это самолетом или тут же кустарно изготовлялось, за углом, в потайном подвале.

И эта огромная комната была иногда как субтропическая оранжерея, а иногда — как оптовый склад, а бывало, и мастерская, когда на полу сидели все, от патриарха до младенца, и надували разноцветные воздушные шары, которые тут же продавались у ворот проходящему люду.

Это было то же самое, что иметь под боком золотую орду: орут на рассвете, и весь день, и ночью, иногда не утихая подряд целую неделю, если у них праздник, или чья-то удача, или такое настроение. А если свадьба, так это даже чувствовалось в проезжающих троллейбусах.

Однажды серолицая чахоточная дочь вышла замуж тоже за чахоточного, с которым познакомились в районном тубдиспансере.

Свадьба была шумной, дикой, и так как электричество было выключено за пережог лимита, то она происходила при свечах и коптилках.

Было много гостей-туберкулезников и выпито много водки в этот день на свадьбе, и еще на следующий день, и много дней подряд с утра до вечера играл патефон — они никак не могли закончить свадьбу.

И всю эту шальную ораву, в жестких и мелких, как барашек, кудряшках, качало из стороны в сторону, казалось, и комната раскачивалась, и внутри все плясало, пило водку и закусывало винегретом, клепало, и хвасталось, и тарабарничало, вспоминая обиды прошлые и нынешние и выдумывая будущие, цыганило, дралось, царапалось и мирилось, пело и пило согласно, пока снова не начинало царапаться до крови, до расплаты, не прощая ни одного слова, ни единого взгляда, ни одного намека.

Пьяное веселье замерло на несколько часов и вспыхнуло с новой силой. В это время самый маленький впервые надел огромные чоботы и дошел самостоятельно во двор, и через час его привел милиционер, он попался на краже бутылки водки в столовой.

Гости уходили и приходили, и приводили новых гостей, еще трезвых и уже пьяных, опьяневших на другой свадьбе или по дороге, в забегаловке, а может быть, их и приводили или они сами приходили из забегаловки на шум веселья. В коридоре и на лестнице валялись пьяные, и люди, уходившие на рассвете на работу, переступали через них, как через бревна.

Невеста через неделю неожиданно слегла, ее увезли в больницу, и она умерла, к ужасу табора, который успел прописать жениха на своей жилплощади.

Когда возвратились с похорон, начались поминки, и они были такие же шумные, громкие, отчаянные и казались продолжением свадьбы.

А как отшумели, отгорели поминки, пошла драка между семьей и женихом, которого тут же стали выселять с площади. Патефон играл, жарким голосом призывая

на Гвадалквивир, а вся семья наваливалась на жениха, и душила, и выталкивала на улицу, на мороз, а он не уходил и, избитый, в царапинах и кровоподтеках, все возвращался, открывал двери и говорил:

— А я прописан, и никто не имеет права...

Он говорил, что понес убытки и уйдет, если только ему вернут расходы на свечи и гроб, но это была только отговорка, он никуда не ушел, а подал в суд, и народный судья с двумя заседателями отсудили ему несколько квадратных метров, и теперь он жил в одной комнате с табором, отгородившись от него буфетом, и они все время ссорились и втайне сдвигали буфет с воображаемой границы.

— Я подвигаюсь, — говорил он, — хочу распространить свою территорию, а они при каждом отсутствии задвигают и задвигают, совсем нечем дышать.

Теперь днем и ночью кашель его слышен был через все стены и перегородки. Когда он приходил в кухню к своей кастрюльке, он отхаркивал в индивидуальную спичечную коробочку, и хозяйки отворачивались, поджимали губы, и им казалось, что палочки Коха бегают по стенам.

Он давно уже не работал по инвалидности и весь день на чердаке вытачивал каких-то матрешек и ванек-встанек и продавал их на Киевском рынке, и табор уже трижды приводил милицию, жалуясь на незаконный промысел и требуя выселить бывшего зятя с режимной улицы как спекулятивный элемент. Но у него все было в порядке по части инвалидности, и по части туберкулеза, и по всем другим линиям советского гражданина, и его оставили в покое к возмущению табора, который считал, что его нужно уничтожить навсегда и окончательно.

— Колеблющийся человек, — говорили они, — плохой, очень плохой.

Современная жизнь, с ее собраниями, политикой, напряжением идеологической борьбы, морально-политическим единством, их как будто совершенно не касалась, не задевала своим жестким крылом.

Они не только ничего не хотели об этом знать, но им и в голову не приходило всем этим интересоваться, все это происходило в каком-то другом измерении, для других людей, из другого теста.

Они, казалось, жили в каком-то далеком прошлом, в мире с колесницами, языческими свадьбами, кровной мстостью, или же в современной оперетке.

Террористка

Рядом с ордой жила тихая сердитая старушка с мертвыми глазами и усеченным, как конус, подбородком, не соприкасаясь с шумной, то взрывающейся скандалами, то фейерверком веселья таборной жизнью, глухая ко всем слухам, сплетням, кухонным интригам, не читая газет и журналов. Даже радио в ее комнате молчало.

Во всех комнатах, по всему длинному коридору радио целый день орало, хрипело, протяжно пело хором Пятницкого и плясало, топотало ансамблем песни и пляски или говорило государственным голосом Левитана. А если молчало радио, хрипел патефон, или кричали истерическими голосами и тузили друг друга, обзывали овцой и идиотом, или во всяком случае надували велосипедную шину или камеру футбольного мяча; а эта комната мертво молчала, и даже подслушивавшие ничего не могли услышать, а в замочную скважину ничего не было видно: с той стороны торчал ключ.

Уже и к участковому поступали анонимки, что в этой комнате слишком подозрительно тихо, старорежимно, несоответственно бурному текущему моменту, что аполитично и отвлеченно, как старосветская помещица, живет Розалия Марковна, и в этой подозрительной тишине, может статья, кроется что-то агентурное.

Но приходил участковый в тонких сапогах, при каштановой кобуре и, вежливо постучавшись к Розалии Марковне, осторожно входил в ее комнату, оглядываясь и все запоминая, задавал несколько отвлеченных историко-биографических вопросов и, получив от нее исчерпывающие ответы, выходил спокойно и даже как-то косо, сердито поглядывая на столпившихся у дверей анонимщиков, глядевших в его руки, не вынесет ли он оттуда бомбу или банку с ядом.

Жила Розалия Марковна, как ночной мотылек. Только в полночь, когда никого уже нет на кухне, когда остыли примуса и керосинки и все дремлет, неслышно прошелестит на кухню и что-то там сварит, вскипятит в своей кастрюльке какое-то варево и быстро унесет в свою комнатку — и слава богу.

Правда, говорили, что не всегда была такой тихой и незаметной Розалия Марковна, что когда-то в давние времена была она суфражисткой, ходила в эсдеках или даже анархо-синдикалистах, была жесткой и нетерпимой, и бушевали в этом крохотном теле террористические бури, и прятала она у себя под кроватью бомбы, и даже раз метала бомбу под карету кровавого губернатора. Но уж в это решительно трудно было поверить — как она этими кроткими, сухими в веснушках ручками могла и прикоснуться к бомбе.

Розалия Марковна, наверно, всегда была худенькой женщиной, но теперь она высохла совсем в девочку-подростка, со сморщенным, как груша из компота, личиком, и молнии, некогда сверкавшие на том лице, совсем затянуло сетью морщинок, терпеливым покоем.

Я иногда приходил в ее мертвую комнатку и перебирал тяжелые картонные листы ее «боевого», как она говорила, альбома. На старых, тусклых снимках я видел нежное, пастельное местечковое личико гимназистки, потом она стриженная, горькая, гордая курсисточка, потом властная, суровая, разрушительная, в кожанке и высоких шнурованных «румынках», с маузером в деревянной кобуре.

Как она ораторствовала, удивляя градоначальников, станowych, городских, сколько речей произнесла, сколько протестов, поправок к резолюциям, сколько слов в порядке ведения собрания по мотивам голосования!

А теперь затихла, будто зашили ей рот, замолкла навсегда, как моль. Убедилась ли в тщете слов, испугалась ли, или навеки оглохло, онемело в ней что-то главное, что говорит, возмущается, бунтует и сражается за правду, за честь, за всех.

В ее комнатке было несколько фикусов, с большими, толстыми, лопатообразными листьями, которые она мыла мылом. И в этой захлавленной комнатке они казались живыми пришельцами из другого, давно забытого, а некогда существовавшего мира, который был до всего этого — до террора, до комиссарства, до коммунальной Москвы, там, далеко, в тихом зеленом мире палисадников, желтых подсолнухов, утреннего крика петухов.

Утром она поливала фикусы из лейки, и в этой лейке тоже было что-то такое доброе, знакомое, успокаивающее, из того, прошлого мира, где были еще грабли и пила, пахнувшая свежими опилками, старые, почерневшие сани и огромный, лежащий посреди двора зернистый мельничный камень, и было солнце, радость, ожидание чего-то прекрасного, счастливого. И кажется, что, когда она так ходит вокруг вазонов и поливает их из лейки, она вспоминает все это — свое детство, свою юность, свои мечты и надежды и не слышит крика и гама кухни, одуряющего хрипа радио, уходит все дальше и дальше в воспоминания, смутно таящиеся в генах, в той разумной клетке, из которой произошло это взрывчатое, настырное, в кожанке и высоких «румынках», с маузером и теперь высохшее в такое сухонькое, жалкое, бледное, как росток сельдерея.

Она возвращалась к той жизни, которая была еще до того, как занялась бунтами, и платформами, фракциями, фикциями вместе со своим мужем Рафаилом Альбер-

товичем, который угодил туда, куда все угодили — все подруги, все товарищи по партии, по оппозиции, по алгебре революции. А она неизвестно как и почему осталась на поверхности, то ли забытая, потерянная на дороге где-то между двумя акциями, то ли не сработал какой винтик, какой-то ленивый, нерасторопный разгильдяй заткнул ее карточку не в ту ячейку. Или вовремя Розалия Марковна исчезла, переехала, растворилась, а может, и бежала с этапа и перевоплотилась, утихла в божью коровку, а потом уже было не до нее, потом забирали, умертвляли тех, кто ее искал, и уже никто ее даже не помнил. И осталась Розалия Марковна одна на всем свете, устраненная из политической атмосферы.

Лишь заглянув в эти глубоко врезавшиеся под лоб круглые глазки и встретившись с пронзительными зрачками, можно было уловить искру того давнего, горевшего неумолимым, нестерпимым, бесноватым огнем, а ныне как бы покрытого печальным пеплом равнодушия и усталости.

Лишь в ее суетливой угловатой фигурке, в быстроте и резкости движений, в нервной хриплости голоса еще сохранилось что-то от той старой Розалии Марковны, боевика, террористки; да еще была короткая стрижка и приверженность к мужского покроя курткам.

Рассказывали, что после ареста мужа некоторое время она была фармацевтом, и даже очень хорошим, и могла составить целебные средства из чепухи, но в одну из чисток, тех многочисленных и шумных чисток, ее вычистили как чуждый, неблагонадежный элемент. И она так испугалась, что после, когда прошла кампания чистки, вдруг обнаружила, что позабыла все рецепты, фармакопея ушла, как вода сквозь сито, и остались только обломки, только осколки, какие-то формулы, какие-то отрывочные латинские термины, которые уже никак не составлялись в нечто разумное, целебное.

Постепенно Розалия Марковна научилась вышивать, и шелком вышивала по подушечкам всякие узорчики, и за этим занятием успокоилась, забылась. И теперь весь ее безумный пыл переустройства общества, и перевоспитания, и улучшения человечества путем террора и диктатуры ушел в кроткое, неслышное вышивание цветными нитками мулине по шелку кошечек и кроликов.

Ах, Розалия Марковна, Розалия Марковна! Что с вами? Кто поверит, кто поймет, как это получилось, как это вообще возможно?! Где ваш бунт, ваш дьявольский протест, ваша жертвенность, иудейская настырность и кипучесть, бросавшие гневное праведное слово русскому самодержцу?

Вы бледнеете от одного косога взгляда Свизляка, вы уже прекрасно заранее знаете, что значит этот взгляд бдительности и кто является вслед за ним.

Да, иногда вы еще и сейчас приходите во дворик Музея Революции, в этот зеленый скверик у прекрасного соразмерностью своей фронтона Английского клуба, и собираетесь тихой, незаметной грустной кучкой, все такие же маленькие, усохшие, крошечные старушки в стареньких, еще с цветочками, шляпках, и тихо, чуть ли не немо переговариваетесь, сообщаясь почти телепатией. А жизнь — вот она грохочет, яркая, грубая, сегодняшняя, беспощадная, несется мимо, смеясь, в мохеровых шарфах и замшевых ботинках, проезжает в черных «Волгах», и не хочет, и не желает знать ваши химеры, ваши недоумения. Но еще придет время, день и час, когда жадно прислушаются к вашим воспоминаниям, к вашему раскаянию, к вашей исповеди и задумаются над своей молодой жизнью.

Бонда Давидович

Представитель художественной богемы, длинноволосый старый лабух Бонда Давидович Цулукидзе, чудный человек, игравший со своей музыкальной артелью на похоронах, был кроликом в жизни, тигром на работе. Уже все уходило на службу, уже дети отправились в школу, уже на кухне прошел первый шквал утренних стычек и откипели утренние чайники, отшипели сковородки, и в квартире наступил тот час спокойного солнца, когда все в очередях, и только тогда Бонда Давидович выходил на кухню, с удовольствием умывался, отфыркивался, трясся седой гривой над краном, пофыркивая, визжал в брызгах ледяной воды. На конфорке шкварилась его сковородка, всегда одно и то же, изо дня в день, из года в год, всю жизнь — картошка на маргарине. И, позавтракав, Бонда Давидович стучался ко мне, молитвенно складывая ручки и, кивнув на телефон, говорил:

— Позвольте, одну гамму.

И начинались длительные, энергичные, напористые переговоры с музыкальной командой.

— Ты можешь делать кого-чего, — кричал он в телефон, — подражать кого-то при наличии ударных инструментов?

Он выслушивал ответ.

— Костя-тромбонист? Нет, он много пьет, и у него не хватает дыхания!

Он снова слушал ответ.

— А кто дает темп? Мы или жмурики?

Разговор о жмуриках шел каждый день, и я тоже понимал, что если впереди жмурик — это дороже, если же ведут лабухи, то похороны идут со скоростью 50 километров в час и такса дешевле.

Отговорив, Бонда Давидович иногда сообщал мне:

— Сегодня иду в оперу. Ведь у меня совершенный слух. Какое удовольствие услышать, как сфальшивит флейта! Ведь вы этого не понимаете.

Бонда Давидович не участвовал ни в революциях, ни в бунтах и вообще жил вне времени и пространства. Ему было все равно — была Великая Октябрьская революция или нет, прошли ли нэп, коллективизация, индустриализация и репрессии 1937 года. Даже Отечественная война задела его только крылом: 16 октября сорок первого года он был все-таки взят на земляные рубежи под Нарой. Но 16 октября ушло, и он снова вернулся к кларнету, и жизнь его теперь отличалась от прежней только тем, что за игру на похоронах он получал не деньгами, а сахаром или крупой, или в крайнем случае хлебными или мясными талонами, на которые по знакомству получал красную икру. А похорон было очень много, больше, чем когда-либо за всю его долгую жизнь.

Бонда Давидович никогда не читал газет, разве только если в «Советском искусстве» раз в году напишут о халтуре и встретятся знакомые фамилии. Но и тогда он читал не газету, а вырезку из нее, обтрепанную, и грязную, и гнусную от многочисленных рук и карманов, в которых она побывала. Бонда Давидович ничего не знал и знать не хотел о всяких постановлениях ЦК и Совнаркома, о борьбе идеологий, а в кружке по изучению текущей политики, куда его все-таки загоняли, он из года в год, вот уже двадцать лет, успевал дойти только до выборов в Первую Государственную думу, а что было дальше, не знал. И когда однажды была кампания по вовлечению в партию работников искусств и Бонде Давидовичу тоже предложили написать заявление, он его покорно написал: «Прошу принять меня в Российскую социал-демократическую партию большевиков».

Бонда Давидович был весь погружен в реквием, и вся жизнь, жизнь Москвы казалась ему единым и безостановочным конвейером смертей, великим крестным путем на Ваганьковское, или Введенское, или, в последнее время, — на Востряковское кладбище, одинаковым для всех, для министров и инвалидов, исходом, во время которого плакали трубы и раздирали сердца тех, кто даже не знал покойника, и на минуту, на мгновенье, всякому, как бы он ни был груб, счастлив и легкомыслен, напоминали конец всего. А потом были поминки или, если не было поминок — родственнички не тратились на поминки, — то они сами, лабухи, заходили в одну из прикладбищенских забегаловок и выпивали косушку с пивом, закусывая воблой, если она была, или просто с сушками. И вновь светило солнце, и кружил ветер, возвращаясь на круги своя, и все начиналось сначала.

Никто к нему никогда в гости не приходил, и писем он ни от кого не получал. За все время только раз, тотчас же после конца войны, почтальон постучался и принес Бонде Давидовичу удивительный, узкий и длинный твердоглянцевый пакет с чужеземной, с изображением льва, маркой. И Бонда Давидович дрожащими руками принял письмо, пощупал, посмотрел его на свет, даже как будто и понюхал и потом дня три не выходил из комнаты, ни с кем не говорил по телефону, затих у себя, как будто умер.

Но вскоре его куда-то вызвали, приходил специальный человек, в новой шляпе, с новым желтым портфельчиком.

Свизляк говорил, что Бонда Давидович получил наследство от Ротшильда.

И другие...

В коридоре, за фанерной перегородкой, в темной, без окна каморке, как в пенале, жило и плакало, смеялось и учило уроки по арифметике и географии семейство тети Саши, уборщицы Гастронома, а в праздники, когда в пенале появлялся приходящий муж тети Саши, играли на гармошке, пили вино и самогон, закусывали холодцом из телячьих ножек, отпускаемых мясным отделом Гастронома со скидкой своим сотрудникам.

Мальчики, несмотря на эту свою неустроенную жизнь в пенале, не чувствовали себя ущемленными, и в коридоре, и на лестнице не подлизывались к остальным жильцам, чувствовали себя не только полноправными, а были самыми шумными и дерзкими, никому не давали спуска, и, пока я там жил, ушли в ремесленное, ходили в черных шинелях и больших черных ремесленных картузах, стали вдруг тихие, серьезные и степенные и приходили уже не шальные от драки, а усталые, с темными, в масле, руками. И никто не успел заметить, как они стали токарями и мастерами своего дела, и старший женился и привел в пенал молодую жену, и скоро она тут не, на нарах, неожиданно ночью родила сына, и он закричал, запищал на весь коридор. А младший ушел в армию, и когда приезжал в отпуск офицером, то и тогда ночевал на нарах в пенале.

А уже в самом конце длинного, темного коридора, там, где, казалось, завершается история новейших времен, в закутке под лестницей на чердак, в замкнутом пространстве, проживала одинокая, кривая, надтреснутая старуха с желтовато-седыми волосами — смотрительница туалета со Столешникова переулка. Как шлейф, тянулся за ней аромат ее заведения, и после нее, казалось, пахнут стены, книги, и будто жутко. Она приходила со своей работы поздней ночью, когда глож шум города, и даже от ее следов несло аммиаком. И она одна на кухне, долго, чуть не до рассвета, варила себе

суп из рыбных костей, и этот тошнотворный чад проникал сквозь щели, замочные скважины, и люди просыпались, а кто не просыпался, тому снились кошмары.

У всех на кухне были отдельные столики, у одних побольше, у других поменьше, и они стояли вплотную, так что когда хозяйки рубили мясо или шинковали капусту, то осколки летели на соседние столики. Только у одной этой старухи не было столика, а была только полочка на стене у самых дверей, и, стоя у этой полочки, она тихо делала свое дело. И сковородка, и кастрюлька, и тазик старухи не были спрятаны, как у других, в шкафчик под большим замком, потому что никакого шкафчика у нее не было, а висели тут же, над полочкой, всегда тщательно вымытые, выскобленные и даже сияющие. Но все остальные соседки отворачивались от них и старались подальше отставить свою посуду.

И когда она заболела и долго лежала одна в конуре, неизвестно чем питаясь, однажды пришла целая делегация с перевязанной цветной ленточкой картонкой торта — какой-то предместкома этих туалетных учреждений и две женщины, одна такая же точно старуха, копия нашей, а другая совсем молоденькая, в завитых кудряшках, и долго стучались в крохотную дверцу. И странно было слышать обращение предместкома: «Товарищ Сорока! Это к вам от коллектива, товарищ Сорока».

А в ответ — захлебывающийся и куда-то далеко, на тот свет закатившийся кашель и затем хрипло не то проклятье, не то мольба о прощении, не то просьба какая-то к ведомству.

— Товарищ Кухтенкова, — обратился предместкома к пришедшей с ним старухе, — что-то я не понимаю, что она просит.

— Она не просит, она умирает, — спокойно отвечала старуха.

— Тогда надо принимать меры! — крикнул он.

— Какие меры? — так же спокойно, устало отвечала старуха.

А молоденькая заплакала, и кудряшки ее затряслись.

Но старуха Сорока вдруг появилась в дверях, взяла сувенир и снова закрылась у себя.

Еще на первом этаже, прямо подо мной, жила старая отставная актриса, бывшая опереточная дива.

Ночью, всегда только ночью, в самые глухие часы, слышно было, как она поет, репетирует легкомысленные арии надтреснутым дрожащим голосом, и хотелось плакать.

В ночной глухой, обморочной тишине это пение распространялось, как вода, — тонкое, жалкое, с повторными руладами, с натужным взвизгиванием, с лающими срывами.

К чему она готовилась? Зачем? Или в ночном этом мираже к ней приходила ее молодость, ее работа, ее любовь?

Однажды у меня испортился телефон, и я отправился к ней, чтобы позвонить в бюро повреждений.

Дверь открыл мне мальчик, и почему-то он был в каракулевой шапке пирожком и шубе с шалью.

Я сказал:

— Мальчик, можно позвонить?

И он писклявым, капризным голосом обиделся:

— Я не мальчик.

— Простите, — сказал я и разглядел старого лилипута.

— Ничего, — огрызнулся он.

Лилипут с желтым, сморщенным в сушеный финик лицом, несмотря на свой лимитный рост, не понимаю, как это ему удавалось, взглянул на меня как бы сверху вниз, невнимательно и высокомерно.

— Только поскорее, мне некогда.

На стене над аппаратом висел список телефонов:

«Склифосовский».

«Психиатрическая Кащенко».

«Медпийвка».

«Пожар».

«Главрепертком».

«Дулев».

Кто был этот Дулев? Зачем попал он в список срочнейших телефонов? Когда к нему обращались, и чем он мог помочь?

Пока я набирал бюро повреждений и объяснялся, лилипут стоял в сторонке, в углу, в своей шапке пирожком и шубе с шалью, и глядел на меня взглядом презирающим и не признающим моего существования.

Да, лилипут Петр Петрович вскоре умер от инфаркта.

У дверей квартиры стоял гробик, как на младенца.

И было тихо.

Когда умирают люди, пусть это даже лилипут, и в коммунальной квартире на миг все задумываются о тщете, суете жизни, и бывают очень хорошими и чистыми. В этот день на нашей кухне говорили вежливо и грустно.

Овидий

Остается только представить дворника Овидия, кривоногого мужчину с каторжно бритой головой и бельмом на глазу.

Круглое, маслянистое, хитрое лицо его еще издали издавало запах жульничества, и чем ближе он подходил, тем сильнее охватывало вас беспокойство. А когда он стоял рядом, то казалось, все ваши карманы открыты и незащищены. Но если он входил в комнату, то уже замки и ключи не имели никакого значения, вяли и обессиливались, а он каким-то тринадцатым чувством видел, и понимал, и ощущал деньги, или облигации, или драгоценности, где бы они ни были — в шкатулках, в двойном дне, зашитые за подкладку или даже в тайничке, залитые бетоном.

От бельма величиной с горошину глаз был какой-то козлиный, нелепый, и непонятно было, видит он или нет. Но когда Овидий стоял у ворот, мирно и невинно пропуская мимо себя и глядя на вас, то бельмо это беспокоило больше всего, казалось, он видит и злое запоминает именно этим бельмом. И оно беспощадно в своей слепоте.

И звали-то его странным именем, неизвестно как залетевшим в русскую или татарскую деревню (некоторые говорили, что он казанский татарин). Или, может, в младенчестве, при крещении, когда опускали в купель, его нарекли совсем не так, а он сам переименовался по капризу, по случаю или по необходимости? Или это была его кличка в том мире, в той компании, в которой он жил, пока не появился у нас во дворе? Никто точно этого не знал, да, собственно, и не думали об этом.

Овидий так Овидий, так и звали его жильцы, так окликали его соседние дворники, и бестии, и прощельги ближайшей закуской-пивной, так он был записан в домовую книгу, и так величал его сам участковый уполномоченный, товарищ Веригин, не задумываясь над генезисом этого странного для московского дворника имени, над генеалогией одного из своих помощников и самых рьяных осведомителей, у которого днем и ночью можно было узнать все, что касается населения этого дома, их родственников и знакомых.

Овидий не только убирал тротуары зимой от снега, летом от сора, поливая их из шланга, не только ходил с домашней книгой под мышкой, разносил жировки и всякие повестки на субботники и воскресники, не только знал, кто женится, а кто, наоборот, разводится и даже почему, но осведомлен был, кто какие курит папиросы и какое пьет вино, предпочитает ли «московскую», или портвейн, или спирт в пузырьке, которым снабжает знакомый фармацевт, и чем занимается в свободное от службы время, играет ли в карты на деньги, по мелкой или по крупной, или просто так, в подкидного, или балуется шашками, как пригостишка, и, главное, кто какие делал высказывания. На самом ли деле это было, или Овидий сам все придумывал для фасона, для карьеры, так как получал тридцать рублей дополнительно «за наблюдение и подозрение»? Нет, не в этих тридцати рублях было дело. За тридцатку он лишний раз не натянул бы и валенки, чтобы выйти посмотреть во двор, что, и где, и как.

Все дело было в должности, за которую полагалась тридцатка, в должности, которая давала ему положение, власть, зависимость от него людей и такие проценты, такие довески к этой тридцатке, которые не снились ни одному ростовщику. И еще главное: безнаказанность.

У Овидия были свои собственные фирменные дела. Сначала, тотчас же после войны, в холодные зимы он приторговывал дровишками, таскал вязаночки сухих досочек, которые горели жарким огнем, а потом, когда стали рушить печки-буржуйки и обстраиваться, ремонтировать, он мог достать олифы и цинковых белил, или оконные стекла, или гвозди. Можно было у него раздобыть и связку воблы, и белые тыквенные семечки, которые привозили ему мешками из деревни. А потом появились и новые товары. Впервые безразмерные носки я увидел и купил именно у Овидия.

Говорят, Овидий даже ссужал деньги под обеспечение — обручальное кольцо, часы или самовар, и за такие проценты, что они быстро перегоняли ссуду, и человек давно расплатился с долгом, а проценты все висели на нем, и часы, или обручальное кольцо, или самовар до поры до времени хранились или насовсем исчезали в камерке Овидия.

В этой камерке, раньше кладовой, не было окна, но Овидий прорубил и застеклил маленькое окошко, как бы в бюро пропусков, и скорее всего не для света — он прекрасно обходился и электрической лампочкой, присоединенной к чужому счетчику, — а скорее для наблюдения. И если Овидий не ходил по двору с метлой и совком, что случалось вообще ужасно как редко, или не торчал с приятелем у ворот, играя в железку, то глядел в это окошко, даже питаясь, с ложкой в руке, даже читая газетку. Во всяком случае, редко кто проходил мимо этого окошка, чтобы не видеть торчащего в нем Овидия, а так как прямо у входа горел яркий дворовый фонарь, то и зимним вечером, и ночью все проходящие были как на экране кино.

Если же Овидия не было ни в окошке, ни во дворе, то его можно было найти в пивнухе, где он чистил воблу или ел раков, запивая пенистым пивом, которым угощали его или жильцы дома, которым что-то от него надо было, или жильцы совсем другого дома или даже другого района, которые намеревались прописаться в этом доме, или просто какой-то неизвестный гражданин или подросток, который тоже не зря тратил свои трешки на пиво и раков для Овидия.

Овидий все знал и все видел, и хорошо, что он все это знал устно и память его была забита бесчисленным множеством других дел и делишек. Я с ужасом думаю, что было бы, если бы у него была привычка к перу и бумаге. Но слава Создателю, он дает человеку не все сразу. У Овидия было такое отвращение к перу и писанине, что, если даже надо было только обмакнуть ручку в чернильницу и расписаться, он бледнел, как перед бомбежкой, и трясущейся рукой царапал что-то невообразимое, и в одной своей собственной фамилии делал столько ошибок и своевольных перестановок букв,

что даже участковый Веригин, тоже не профессор чистописания и не филолог, морщился и отворачивался, и махал рукой. А Овидий, натрудившись над изображением своей фамилии, прислонял к чернильнице ручку осторожно, словно чудом не разорвавшуюся в его руках гранату.

Часть вторая Бесконечный день

Это было время коммерческих ресторанов, Сталинских премий, лакировочных романов-близнецов, судов чести, которые в историю вошли как суды бесчестья, когда бездарность была синонимом благонадежности, бессилие крутило силу, и вперед вырывались самые низменные, самые бесчестные, самые коварные, на престол поднимались мхи, и зима царила в стране моей.

Те смутные, темные, ледяные дни страха, мертвые дни моей жизни, в расцвете моих молодых сил, в тридцатипятилетнем возрасте.

В том году было много достижений и в сельском хозяйстве, и в общественном питании, и в соцреализме, и в борьбе с вейсманизмом-морганизмом, и в борьбе с космополитизмом и хвостизмом, и в национальной политике.

И шли собрания, долгие, бурные ночные запутанные собрания, когда никто точно не знал, в чем дело, чего от него хотят и что он должен делать, думать и говорить, и как голосовать, господи боже мой!

И никто еще не предполагал и во сне не видал, во что это выльется и чем это может и должно неминуемо кончиться.

Ничего не произошло. Не было мора, нашествия крыс или саранчи, никто не умер от страшной, неизвестной, загадочной болезни, не было ни пожара, ни землетрясения, ни наводнения ни в этом городе, ни в каком другом, ни во всем государстве.

И все-таки вдруг, среди ясного, светлого, безмятежного дня прошла эта сумасшедшая искра и пробила все души, все учреждения, все редакции, все министерства, артели, школы, детские сады, и все сразу наэлектризовалось, и стало душно и страшно, и требовало жертв, постоянного жертвоприношения, ненасытного жертвоприношения.

Психозы подозрительности сменялись временами относительного затишья и даже какого-то убудочного милосердия, прощения, и обычно в самый шторм, на девятой волне, начиналась новая кампания исправления ошибок и перегибов. Выходило солнце, люди вдруг полутрезвыми глазами оглядывали друг друга, стыдясь недавно сказанных слов, содрогаясь от того, что позволили сделать при их молчании, и чувствовали себя людьми, даже те, у которых страх выел душу, заполнил ее всю, подмял под себя и занял место, где от рождения были гордость, самолюбие, честь, вера, совесть. Но даже в эти Большие перемены, как в затишье перед грозой, уже чувствовалось приближение нового, еще более отчаянного, грубого, слепого и беспощадного приступа подозрительности, когда, как от камня, брошенного в воду, все шире и шире расходились круги, захватывая в водоворот, засасывая в смертельную воронку все больше и больше людей невиновных ни слухом, ни духом, никогда не обмолвившихся ни одним словом ни наяву, ни во сне.

Это было, как смена времен года, как годовые кольца на срезе дерева, как циклы шизофрении, и к этому начинали привыкать. Жизнь проходила от собрания к собранию, от кампании к кампании, и каждая последующая была тотальнее, всеобъ-

емлющее, беспощаднее и нелепее, чем все предыдущие, вместе взятые. И все время нагнетали атмосферу виновности, всеобщей и каждого в отдельности виноватости, которую ничем никогда не искупить. Надо все время чувствовать себя виноватым, и виноватым, и виноватым, и покорно принимать все наказания, все проработки, все приговоры.

И постепенно это ощущение постоянной, неисчерпаемой, иступленной виноватости и страх перед чем-то высшим стал вторым я, натурой, характером. Проснувшись, ты уже чувствовал себя виноватым в чем-то, чего ты еще не знал и не ведал.

Кто-то не выполнил плана, где-то случился недород, пропажа зерна, крушение, обвал, гнойник, двурушничество... Читая об этом, ты чувствовал, будто это ты просмотрел, проглядел, прозевал, допустил и тоже лил воду на мельницу. И был под постоянным напряжением, в постоянной бдительности, в постоянной готовности искупить эту виноватость, заслужить доверие. Но доверия, ни полного, ни неполного, все равно никогда не было и не могло быть, и никогда ты не чувствовал себя в порядке, и безопасном благополучии, всегда в любую минуту, днем и ночью, с тобой могла приключиться самая большая, страшная и уже непоправимая, необратимая беда. И ты жил, вздрагивая при каждом косом взгляде, ожидая напасти при каждом повороте, зигзаге, случае.

Никто не знает, зачем это, все втянуто в эту атмосферу, задыхаются в ее ужасной предгрозовой духоте и думают, что так надо, и всегда есть несколько быстро и ловко акклиматизировавшихся, быстрее всех вырвавшихся вперед и наверх, которым это именно и надо, и выгодно, и они уже научились извлекать из этого пользу, первыми откликаться, первыми кричать: «Позор!» — и они уже барабанщики, горнисты, пенкосниматели.

Завтра или послезавтра, при очередной кампании, при новом пожаре, вздергивать будут их, но они еще этого не знают и не хотят знать, и не предчувствуют, и не думают, и не хотят об этом думать, и сегодня изо всех сил стараются потуже, поаккуртнее, попринципиальнее затянуть петлю на других.

Каждый раз, внезапно, как цунами, появлялось какое-то соображение, например, трактовка образа Кутузова в «Войне и мире», или приоритет русской науки, или вопросы языкознания, или что-то другое. Почему именно сейчас, в марте или августе, и именно в этом году, и именно в этот день появлялись эти соображения? Чем это объяснялось — экономикой, международной ситуацией, пятнами на солнце, страшным сном или призраком только одного человека?

И не было недостатка в академиках-холуях, в подставных академиках, избранных в разное время согласно должности, профессорах и доцентах и кандидатах наук, которые раздували кадило, курили фимиам, как клопы сосали Гегеля и Плеханова, Аристотеля и Карла Каутского, и комментировали каждое слово Его, каждую запятую, и если она поставлена была неправильно, случайно, то даже в ошибке этой находили скрытый гениальный смысл. И все это тотчас становилось не только великим открытием, русским приоритетом, но и государственным законом и статьей Уголовного кодекса.

И какое бы это отдаленное отношение ни имело к событиям жизни текущего дня, к интересам и заботам государства и его жителей, к их кровным интересам жизни, семейства, любви, квартирной тесноты, воспитания детей, это немедленно становилось самым главным и значительным, и решающим событием государства, затмевающим все дела и события, заглушая и отодвигая на десятый план вопросы хлеба, школы, семьи, заполняя страницы газет и журналов, научных трактатов и диссертаций, тех пылящихся в книгохранилищах диссертаций в красивых твердых папках с золотым тиснением, которые кандидаты списывали друг у друга вместе со всеми цитатами, ошибками и искажениями.

Это прорабатывалось на всех собраниях, заседаниях, кафедрах, сессиях, и инакомыслящие, а иногда и верномыслящие, шли прямо из аудиторий, лабораторий на пересылку, в этап, в края дальние и ужасные, в Магадан, в Воркуту, а жены в ссылку, а дети в приюты. Разорялись и предавались анафеме целые научные школы, изымались навеки из библиотек и по списку сжигались книги и научные трактаты за целые столетия, рукописи исчезали в архивах, сжигались по актам, и никто и никогда их уже не мог найти. Научные споры начинались в академических аудиториях, с холоуями и приживалами, продолжались со следователем, а заканчивались с вертухаями в лагерях.

Я все узнал на собственной шкуре, я сам сидел на тех собраниях, высиживал их от начала до конца, и все слушал, впитывал в себя, обмирая от страха, что сейчас назовут и мою фамилию, и когда рассуждал в кулуарах, с удивлением слышал свой вязкий голос, словно это говорил сидящий во мне карлик. Но никому не было дела до меня, пока я никому не мешал, ни у кого не стоял на дороге, не был бревном, даже соринкой в глазу, и обо мне те, что выступали, те паны, что дрались так, что чубы трещали, забыли. На меня пока выпала индульгенция, пока я еще лежал не в простреливаемом пространстве.

Но в тот зимний день все проценты моей годности иссякли, и я не в силах был набрать их вновь.

Глава первая

День начался странно, дико.

Разбудил меня телефонный звонок, и высокий, взвинченный, обессиленный женский голос спросил:

— Это дом малютки? Как самочувствие ребенка Ключель?..

Тусклый, как бы фиолетовый свет процеживался сквозь замерзшее окно. Наледь снежная была в палец толщиной.

Крашенные некогда масляной краской, склизкие, сырые стены опущены инеем. Вода в стакане на столе замерзла, и купленная накануне веточка мимозы, слабенькая, пушистая, тоже замерзла и, словно подрумяненная, сникла.

Отчего так прелестны эти легкие светло-желтые веточки? Отчего вызывают такую нежность, такую жалость, радость?

Да, они из будущего года, они первые из той весны, которая еще только грядет, пробивается и несет нам новую веру, бесконечную и неиссякаемую, что вдруг снова будет молодость, будет то великолепное, несказанное, несбывшееся, пророчески обещающее нам еще в младенчестве.

Не успел я задремать, снова телефонный звонок и измученный плачущий голос.

— Я стояла в очереди целых два часа, пришла домой, разворачиваю, а мне дали одни кости.

Сил не было объяснять, что к чему, да и видно было, что она не поверит, и я устало сказал:

— Хорошо, приходите, обменяем.

— Вы прикажете, да, вы прикажете? — кричала женщина в телефон. — Я с ночи стояла.

— Прикажу, — сказал я.

И как бы донесся до меня, ясно проник в комнату этот предрассветный, осторожный, таящийся шелест создающейся в подворотне очереди, словно не за бараньими ножками, а за кокаином: чернильным карандашом номера на ладони, на каменной,

морщинистой, и на розовой, младенчески нежной, где еще даже не проступили, не обозначились роковые линии судьбы. И жужжание тугой, как пружина, очереди, еще в темноте подворотни уцепившихся друг за друга людей, как звенья цепи, самой отчаянной, нерасторжимой на свете цепи продовольственной очереди, и вот так, уцепившись друг за друга, вышедшей на шумный свет улицы и уже официально, во главе с церемониальным сержантом, шествующей словно в замедленной съемке; змеится, течет вдоль стены этот перепутавшийся клубок, суздальские обличья, серые, серые ватники, туалет-де-нор, огромные кирзовые бабьи сапоги, вперехлест авоськи, клеенчатые, дерматиновые сумки. Как будто в комнату ворвался галдеж, пот, суматоха и бушевание мук всех очередей, толпящихся в этой утренней мгле за рыбой, за квасом, за штанами.

Я поглядел в окно. В сером безжизненном сумраке зимнего рассвета быстро, почти бегом, шли по тротуарам темные фигуры, и у всех были хозяйственные сумки, некоторые несли на руках спящих детей или волочили их за собой, закутанных в пальтишки, в пуховые платки, обутых в валенки, и в эту рань некоторые хныкали, а другие молчали равнодушно, и это было еще страшнее.

Одинокие черные фигурки перебегали еще пустынную улицу, издали освещенные приближающимися фарами, и вот он вынырнул из темноты — огромный крытый фургон с белой от свежего снега крышей; где-то за городом, где скотобойни и склады, шел снег, пролетел, исчез. И перебегали новые фигурки, и снова приближались фары, теперь уже их было сразу несколько, а потом вдруг словно прорвалась плотина, они пришли огненным стадом, нетерпеливым, грохочущим, заполнившим всю улицу, и свет фар беспокойно пробежал по потолку темной комнаты, как волны бесконечной реки.

Словно сквозь сон бубнило радио что-то о ветвистой пшенице, о ветвистой пшенице, которая так никогда и не вырастет, потом захрипело, захлебнулось, и вдруг сразу со всех сторон, во всех комнатах заиграло и заговорило бодрящим голосом: «Раз-два! Раз-два!» Будто там, откуда оно вещало, было вечное солнце, райские кущи.

Но что-то было наигранное, напрасное, быстро умирающее в этом голосе затейника, приказывающего во всех комнатах младенцам, и старушкам, и сумасшедшим: «Раз-два! Раз-два!» Что-то бесконечно неуверенное, что вы его послушаетесь и мигом станете идиотски веселым.

Снова резко и сильно зазвонил телефон, и легкомысленный голос сказал:

— Откройте форточку, приготовьтесь к физзарядке, расставьте ноги, глубже вдохните.

— Кто говорит? — спросил я сонно, глупо, хрипло.

— Ваш доброжелатель, который хочет, чтобы вы исправили фигуру, чтобы у вас были плечи крутые, с шишечками по бокам...

И вдруг прервали, и ясный, грубый, из другой оперы голос сообщил:

— Докладывает 1556.

Я, словно обжегся, бросил трубку.

Что-то было в этих звонках зловеще-нелепое и напоминало слышанный в подмосковном санатории рассказ старого большевика, как брали его когда-то в 1937 году. Все началось со звонков: «Это у вас глухонемой ребенок?», «Тетя Лютя приехала?...».

Через несколько дней его взяли уже повторно, ночью, прямо из палаты санатория, за день до выписки. Пришла сестра-хозяйка, тихонько, на цыпочках, и разбудила его, он оделся, и все проснулись и видели в окно, как он вышел, и за ним два человека в штатских пальто и ушанках, все сели в «Победу». Машина развернулась, и они уехали по аллее, мимо заснеженных деревьев, навсегда.

Густая серая тоска сочилась беспрерывно и во сне заполняла всего. Опять снились суматошные, нелепые сны, и все время дрожал и путался в душе страх, то со

стрельбой и гранатами я пробивался по улицам, забитым немецкими мотоциклистами на тяжелых зеленых машинах, то вдруг неожиданно останавливал участковый в новой фуражке, молча глядя прямо в глаза, то продирался сквозь душные, с запахом войлока и паутины, чердачные потемки, и было трудно дышать, и я проснулся, чтобы открыть форточку, но в комнате было холодно, морозно.

Дома на противоположной стороне улицы всплывали, как клякса на промокашке, и вся жизнь казалась тоскливым негативом.

И думалось, сколько же сил надо иметь, чтобы опять встать и начать все сначала.

И еще муторно было от саднящего чувства беды. Сквозь непрошедший сон сразу не вспоминалось, что такое плохое случилось накануне. Но когда совсем очнулся, понял: «А, звонки!» Страшила меня неизвестность, в которой я жил все последнее время, неясное сознание вины несовершенной.

Фитиль коптилки плавал в подсолнечном масле в коробочке из-под ваксы; электричество после двенадцати ночи из-за пережога лимита выключала комиссия содействия домоуправлению.

Я зажег коптилку и будто впервые увидел свою комнату, закопченный, в саже, потолок, сиротливо свисавшую на длинном шнуре стосвечовую голую лампочку, выцветшие газеты на столе вместо скатерти, сковородку и жестяной чайник, пальто и шинель на гвоздях, будто кто-то стоял у стены и ждал меня.

Как и все, я не выбирал этого жилья, не пришел сюда потому, что мне нравится эта улица, ее тишина, ее зелень и спокойствие. Это была самая шумная, грохочущая, жадная улица, напоминающая аэродинамическую трубу, где проверяют моторы самолетов, от гула которых некуда деться, а в этой трубе и спишь, и ешь постную картошку, читаешь газеты и романы, ссоришься и целуешься, и болеешь гриппом, и тоскуешь... Я думаю, я склонен думать, что из всех миллионов комнат старой Москвы от Филей до Абельмановской заставы не было более несуразной, дикой и неудобной, похожей на каменный карман, с узким окошком на самую шумную в городе площадь, как раз у поворота транспорта, так что все шедшие по Садовой машины, если им нужно было повернуть на Арбат, именно здесь с рычанием и воем разворачивались.

А ночью, когда немного стихал грохот непрерывного потока и только одинокие машины шли с воем «скорой помощи», под самое окно к водопроводной колонке приезжали на водопой со всего района эти огромные, неуклюжие поливальные цистерны, выстраивались в очередь с невыключенными моторами, и фыркали, и сифонили, ревела в шлангах вода, и пока машины заправлялись, шоферы и дворники беседовали о несправедливости, о злобе начальников, о цене на гречневую крупу на черном рынке, о своих зазнобах, о закуске. А под 1 мая и 7 ноября именно здесь сводный военный духовой оркестр МВО репетировал «Священную войну», ревели трубы, гудели барабаны, и стекла дрожали и вибрировали.

Дикий слепой случай, как и во всем в жизни, решил и жилищный вопрос.

В холодную военную весну я пришел сюда с разрешением на временную прописку, я был в летнем комбинезоне, в папахе с красной ленточкой и со старым пистолетом ТТ в самодельной кобуре, сработанной партизанскими кожевенниками в лагере под Бобруйском.

Управдомша встретила меня со строгостью особиста.

Это была женщина с торсом Венеры и лицом новобранца, в ватнике и кирзовых сапогах, с рыжим перманентом и покрашенными губами, полудиверсант-полулоретка.

Она трижды перечитала бумажку, заглянула на обратную сторону, потом посмотрела на меня и сказала:

— Значит, так, фуксом хотите?

Я смолчал.

Она ведь видела водяные знаки этой бумажки.

Дело в том, что некий старый холостяк, бывший фининспектор, выгодно женившись на отдельной квартире и все равно терявший площадь, согласился уступить мне свою старую нежилую комнату, оставив один на один с соседями, давно зарившимися на эту площадь, с дворником, который тоже целился на нее, с домоуправшей-взяточницей, с Моссоветом, с милицией, с паспортным столом, со всеми законами и указами и с самим Верховным Советом. И всякими правдами и неправдами, многочисленными отношениями, ходатайствами, телефонными звонками сверху вниз и снизу вверх, облепленный заявлениями, доносами, судебными постановлениями, я постепенно переделывал прописку временную на постоянную.

Но это уже было после.

А тогда замерзший, почти ледяной, заматерелый дом встретил нас молчанием. Мы шли длинным пустым коридором, кто-то за дверьми в комнатах возился. Оказалось, это шуршали мыши.

Наконец появилось что-то высокое, тощее, несчастное, в мохнатом халате и в пуховом платке крест-накрест, в чувяках с загнутыми носками, что-то похожее на помесь Дон-Кихота и Обломова. Оно поглядело на нас и неожиданным фальцетом резко сказало:

— А почему, дозволейте осведомиться, не работает ватерклозет?

Я развел руками, управдомша рассмеялась.

— Товарищ Цулукидзе, и не стыдно вам во время войны приставать с такими мелочами?

— Позвольте, позвольте, — сказала помесь Дон-Кихота с Обломовым, — но при чем тут война?

— А при том, что не отпущены средства, — уже вскричала управдомша.

— Но ватерклозет. — Он приложил руки к груди.

— Нечего лить воду на мельницу, — оборвала управдомша, — пойдете, товарищ фронтовик. — И она двинулась вперед в своих кирзовых сапогах, словно это она только что вернулась из немецкого тыла.

— Живут тут всякие, — сказала управдомша. — Я бы их вообще выселила из столицы. Какая от них польза!

Мы прошли в пустую кухню с огромной, как волейбольная площадка, плитой. Домоуправша открыла плечом дверь в крохотный, темный затхлый коридор, потом еще одну дверь, как в стенной шкаф. И мы вошли в узкую, вытянутую кишкой комнату, серую, потерянную, с каменным холодом и плесенью всех военных зим.

В комнате стояла никелированная семейная кровать с пробитым матрасом и выскочившими пружинами, некрашенный самодельный топорный посудный шкафчик с щербатыми, набитыми пылью чашками, кривая этажерка со старыми книгами и брошюрами по налоговым вопросам и с пауками, которые неизвестно чем живы были в этой мертвой, оплаканной комнате.

У меня было ощущение, будто я вошел в ледяной морг, где лежал труп времени — того, прожитого, мне незнакомого и чуждого и навсегда ушедшего времени, у которого, однако, были свои юность и молодость, свое счастье, прекрасные солнечные утра и тихие вечера, и ночи, и боль, и расставанья, и неутрачиваемая вера в бессмертие.

И я почувствовал это время — с его мышцами, с его тенями, тоской и необратимостью. Не пыль, а прах лежал на всем, толстый слой серого, ужасного праха истлевших бумаг, вещей, летних сумеречных бабочек, может быть, ногтей и эпидермы живших тут некогда людей.

Чужие каменные стены, говорящие о неизвестных жизнях, прожитых в них. А моя только начинается в этих замерзших, отсыревших каменных стенах, в этот жут-

кий, ледяной военный день, на пустой узкой улице, где нет машин и нет почти пешеходов-мужчин, под вой сирены воздушной тревоги, под шепчущее радио, не выключенное с тех пор, как еще до войны ушел хозяин. Страшно себе представить, что все эти годы, каждый день, с самого раннего утра в пустой комнате начинало говорить радио, передавало сводку Информбюро, и пело частушки, и играло фуги Баха, и брэнчало балалайками Осипова, и ревело сиренами воздушной тревоги, и бабахало салютами во славу орловских, харьковских, гомельских дивизий, и каждое утро, и в полночь, наговорившись, нахрипевшись, играло курантами.

Была оттепель, трамвай, трезвоня и разбрызгивая лужи снеговой воды, высекая искры из рельсов, летел вниз с Плющихи к Бородинскому мосту. У Киевского вокзала с передней площадки неожиданно вошел инвалид в ватнике и почерневшей от времени солдатской цигейковой шапке, с вырезанной из жести звездочкой, стал в дверях, упрямо оглядел пассажиров и, сняв шапку, вдруг истерически зашел:

Ба-альшую эпоху затеял нам Маркс...

Дальше я не слышал, трамвай, уняв ход, медленно заскрежетал на закруглении у Киевского рынка, и я на ходу прыгнул, направляясь к рядам, где стояли пригородные бабы и старики с вязанками колотых дров и щепок.

Я выменял буханку полученного по аттестату окаменевшего и уже заплесневелого хлеба на вязанку дров и пешком, с вязанкой на спине, переулками направился в свой новый дом, все усмехаясь: «Ба-альшую эпоху затеял нам Маркс...»

Каждое утро я теперь просыпался в тоске и отчаянии пропащей, зря проходящей жизни, когда все повторяется и повторяется и кажется давно исчерпанным.

И тогда наступало странное, совсем потустороннее ощущение несуществования.

Я посмотрел в окно, там стоял снежный тополь, и на какую-то секунду, на волшебный миг пролетело и коснулось и вольно дохнуло на меня давнее, праздничное детское чувство зимнего рассвета, снежного чуда, чистого белого праздника.

Наверно, и это утро было для кого-то чудесным, спокойным, единственным, может быть, самым прекрасным в жизни, и даже это сумрачное, ржавое небо казалось счастьем.

Но не мог я себе этого представить, и мне казалось, что всему миру сейчас темно и худо. И этот слепой, мертворожденный день не может никому принести ничего хорошего.

И было еще ясное и резкое утреннее понимание, что опять все повторится, и ни сегодня, ни завтра и никогда ничто не изменится, несмотря на все ожидания и вечную глупую и не остывающую надежду и иллюзии. И незачем жить.

Но жить надо было.

Я обратился к этажерке.

На запыленных полках Толстой в дешевом огоньковском издании, однотомники Лермонтова и Гоголя, тощие томики Бабеля и Андрея Платонова. Были еще там Бунин и Ходасевич, привезенные с Маньчжурской кампании, из Харбина, Хемингуэй, взятый и не отданный библиотеке, и еще дневник Жюль Ренара, таким же образом изъятый из библиотечного фонда. Отдельно стояли книги, которые я читал изо дня в день, не уставая перечитывать, с утра настраиваясь, как на камертон. Это были «Голлод» и «Пан» Гамсуна, сказки Андерсена и избранный том Чехова — «Дом с мезонином», «Ариадна», «В овраге», и в последнее время к ним еще прибавилась «Жизнь Арсеньева». Они были не только камертоном, они были как воздух, как надежда, как

смысл жизни, они были примером того, что что-то можно сделать, если хотеть, и для этого стоило жить.

И, наконец, на нижней полке — синие тома Сталина, тонкие в белой обложке массовые брошюры Политиздата с докладами Молотова, Маленкова, Кагановича для семинара партпросвещения. Серые эти брошюрки были проработаны, проштудированы, строки подчеркнуты красным и синим карандашом, и цитаты переписаны в конспекты.

Я взял томик Гамсуна — «Пан».

«Я сижу здесь, в горах, а море и воздух гудят...

Вы, люди, звери и птицы! Я поднимаю стакан за одинокую ночь в лесу, — в лесу!.. За зеленую листву и за желтую листву!»

Ритм свободный, раскованный, зазвучал в моих ушах.

И я вспомнил свои горы.

Мертвая замерзшая Мугань с окаменевшими от арб колеями и окаменевшими следами ночью пробежавшего сагайдака — глубокими и легкими, и со следами верблюда, его вялого корабельного шага, следами, в которых замерз легкий, панцирный, сам по себе трескающийся, как фарфоровые блюдца, зеленый ледок; еле различимые следы зайца. А на горизонте — лиловые горы.

Старенький «Форд» на высоких колесах, с поднятым брезентовым верхом, с кипящим, как чайник, радиатором, пыхтя, плюясь дымом, как горный козел перепрыгивая с бугра на бугор, вылетел в закрытую с трех сторон горами долину и покатился по старинной, обсаженной шелковицами аллее, мимо селений с глинобитными домиками, мимо ореховых и абрикосовых рощ.

Жизнь, казалось, остановилась тут много веков или тысячелетий назад. Навстречу медленно двигались огромные, черные, сильные буйволы. Они шли с таким усилием, словно тащили за собой эти горы. Их погонял молодой парень, покрикивая: «Йиок, йиок!»

Увидев машину, он остановил волов, и они тяжело стояли, опустив головы, — могучие, черные, крутолобые, исподлобья глядя на нас, и пена падала с их пепельных губ.

В долине было сухо, солнечно, догорали алым огнем виноградники, лозы устало склонялись к земле, ручьем текли желтые сухие листья чинар, низко стлался дым костров. А в горах лес уже стоял темный, каменный. И чем выше, тем суровее становилась природа. Теперь мы видели только сухой, будто вырубленный из скалы карагач, а еще выше уже и леса не было, вокруг поднимались бурые вершины с красными жилами железняка, и заброшенные сакли горных селений, и за ними закатное солнце. Ни единого цветка, ни единой травинки не видно было на ребрах гор, застывших в своем железном одиночестве, в своей первобытной, первозданной дикости, под пустынным небом.

Одинокие удары молотка отдавались в горах пулеметным эхом, стучал и стучал молоток, откалывая тяжелые красно-бурые куски железной руды, которые я подбирал и прятал в рюкзак.

В далеком том городке, где растут маргаритки и настурции, я никогда не задумывался над тем, откуда берется железо.

А потом выпал первый снег, в белое покрасил горы. В этом холодном туманном рассвете, на фоне гор, серо проступали бедные сакли, из труб которых валил сладкий кизячный дым; блеяли овцы и скучно лаяли собаки, выходили старики и старухи, тащили горшки, корыта, выбегали дети и прыгали через ручей, пахло свежим, только испеченным хлебом и козьим молоком, на дороге мерещились туманные фигуры,

слышался скрип дальней арбы. Как было непохоже и одновременно похоже всеми звуками, всеми запахами, всем тем человеческим, домашним, семейным это далекое чужое горное утро на то, которое я знал и любил там, в той земле, где нет никаких гор. Как стеснилось, сжалось сердце, и вспомнилась мать, родной дом, сестры.

В тишине и покое белого утра слышны были глухие удары со стороны гор. Старик прикладывал к глазам ладонь, всматриваясь вдаль, чтобы понять, что там происходит — будто конь святого Али тяжело скакал по горам.

Я прохожу мимо старика, он смотрит на меня внимательно и отчужденно.

— Доброе утро! — говорю я и кланяюсь. Старик не шевелится, он величественно молчит, разглядывая меня.

— Доброе утро, дед, — говорю я, думая, что он не расслышал меня.

— Сулейман! — кричит он. Из сакли выбегает тонкий, смуглый, кудрявый мальчик. — Сулейман! — он пальцем показывает на меня, и мальчик бойко по-русски спрашивает меня: — Что надо?

Вдали прогрехотал то ли гром, то ли взрыв.

Старик прислушался и печально, недоуменно покачал головой. И казалось ему, что пришел конец света. И разверзнется земля, и исчезнут в ней горы вместе с саклями, с овцами, с кизячным дымом, со всем, что было до сих пор и к чему он привык с самых ранних лет своей памяти.

— А? Зачем? Зачем? — спросил он с удивительной для такого старика страстью.

Он видел джейрана, от взрывов пугливо убегающего в горы, птиц, тревожно машущих большими темными крыльями, и ящериц, выползающих из расщелин скал. Он видел то, чего мы не видели, чувствовал то, чего мы не чувствовали, и ему было жаль нарушенной жизни.

Однажды пошел дождь. Он лил день и ночь непрерывно, он лил всю неделю, и нельзя было выйти из сакли. Казалось, разгневанный Бог заливал взрывы в горах, людскую жажду, посмевавшую нарушить тысячелетний горный покой.

Старик выходил на улицу, смотрел на небо и с дьявольской улыбкой возвращался в саклю и молчал, и казалось, что он знает что-то такое, чего никто из нас не знает.

Иногда он смотрел на нас и говорил: «Ай-ай-ай». Словно жалел нас, словно насмехался над нашей глупостью и наивностью.

Но потом, ночью, все проснулись от необычной, стоявшей в горах тишины. Не слышно было уже привычного непрерывного шума дождя, и тишина была тяжелой, застывшей, как эти окружавшие нас горы.

Мы вышли из сакли. Небо было чистое, яркое. Крупные звезды светили над горами.

Разведчики погрузили на маленького коренастого ослика теодолит, мешки с динамитом и разную поклажу и двинулись вслед за осликом по горной тропинке вверх к облакам.

Сумрачные облака качались рядом, подходили ближе и чуть приостанавливались, словно приглашая садиться, и, свободно качаясь, уходили.

Взошло солнце, облака засветились розовым, голубым, лиловым. И все вдруг сдвинулось с места, потекло. Пастухи погнались по склонам гор баранту, и сквозь прорывы облаков стали мелькать зеленые долины, открылись дальние села, сады, и дороги, и поезда, и дым поездов...

— Спасите! — истерически запричитали в соседней комнате, и вслед за тем залаяла собака.

Я постучал в перегородку, она была как мембрана и чутко воспринимала, передавала и даже усиливала все звуки.

- Товарищ Свизляк! — закричал я, и эхо откликнулось в соседней комнате гулко, как на площади во время парада, когда командующий объезжает войска.
- Товарищ Свизляк, вы бы потише немного радио.
- А я у себя в комнате, как хочу, так и регулирую. Теперь парадное эхо стояло уже в моей комнате.
- Но слышно-то ведь во всей квартире.
- Ну и что? От этого не болеют! — кричал Свизляк.
- А я не обязан выслушивать все инсценировки, — кричал я.
- Вот как! А что, вам не нравится?
- Просто не хочу слушать.
- Вот как, — повторил Свизляк, — это уже интересно.
- Все вам интересно.
- Мне, может, и нет, но кое-кому — да.

В тысячах тысяч таких же коммунальных квартир, в таких же тесных комнатках просыпались такие же, как я, холостые и семейные; и прошедшие войну солдаты, чудом выскочившие из нее целыми, полные сил, и раненые, контуженые, которым тяжело было в эту снежную мразь, ужасно было в это темное, зимнее утро, и точно так же мордатые дезертиры, ловкачи, бронированные и не забронированные, в свое время эвакуированные и не эвакуированные, которые сейчас, только проснувшись, уже звонили по телефону, набирали нужные им номера, стараясь поскорее урвать кусок побольше и послаще, пока другие не перехватили; и люди, которых сегодня будут прорабатывать, исключать на собрании, на тысячах тысяч собраний, и те, кто их будет пытаться, кто будет председательствовать, писать резолюции и кто просто будет голосовать за исключение, не желая за это голосовать; и затравленные, забитые, со страхом ожидающие очередной кампании, и те, кто в это время на коне и про которых говорили: «Он в порядке», — все сейчас просыпались и для всех это серое утро было разным, и друг друга они не понимали и понять не могли и не хотели.

Сунув ноги в старые, стоптанные, еще партизанские унты, голый до пояса, я вышел в холодную, с замерзшими брызгами на цементном полу кухню умыться над раковиной. Обычно никто не оглядывался, стояли у своих индивидуальных, у своих золотых и бриллиантовых столиков, чистили картошку, рубили капусту, лепили котлеты. Не прощали они, нет, не прощали, что я имел карточку НР — и как бы про себя ворчали: «Подумаешь, научный работник».

Я слышал и не слышал...

Но в это утро все было до испуга по-другому. Никто не стоял у столиков, и не шумел ни один примус, не горела ни одна керосинка, не дымился ни один из странных допотопных приборов, на которых варили, пекли, подогревали, подрумянивали.

Кухня полна была женщин, старых и молодых, пришли с первого этажа, и все были тепло одеты, закутаны в платки, подпоясаны.

Сначала я подумал, что где-то давали свежую рыбу или уток, или, может быть, даже воблу, а может, китайские шерстяные кофточки.

И хотя здесь были все квартирные партии, все враждующие группировки, никто на этот раз не ругался, не шипел, все вместе чего-то ждали, оживленные, смеющиеся, какие-то размягченные, какие-то даже приятно подобревшие, словно наступила всеобщая Пасха — Христос воскрес! — в коммунальной кухне. Они на меня взглянули и весело сказали: «Доброе утро»; — чего я уже решительно никогда не слышал и не ожидал услышать до самой смерти. И я, наверное, странно взглянул на них и так растерянно, и испуганно, и жалко ответил: «Доброе утро», — что они коллективно кокетливо рассмеялись. Я не знал, разыгрывают они меня или это мне снится, или, может

быть, самодеятельный спектакль какой, или вообще все пошло кувырком, а я ничего еще не знаю, все на свете проспал. Но скоро все выяснилось.

— У кого билеты? — стали спрашивать нетерпеливые.

— У Ворончихиной билеты.

В это время ворвалась в кухню Ворончихина, черная, жужжащая, будто шершень, запроваженная в полущубочек, с горящими глазами.

— Девочки!

— А какие места? — стали спрашивать женщины.

— Партер, — сказала Ворончихина.

— Тарзан?

— Тарзан.

И все довольно засмеялись и, толкаясь, вывалились из кухни и, громко разговаривая, шумно спустились е лестницы.

Я снова взялся за Гамсуна.

«Летние ночи, и тихая вода, и бесконечно тихий лес! Ни крика, ни звука шагов с дороги. Сердце мое было словно налито темным вином».

Я хорошо знал, что если утром ничего не сочинилось, не записалось, то уже после весь день будет пустым, ничтожным, словно уронил на дороге этот день, словно он упал в колодец. Все время было это беспомощное ощущение зря потерянного, зря проходящего дня.

Я никогда не давал себе спуска, пощады, никогда не снимал напряжения, а потом это уже само не снималось и стало характером.

Что это было — тщеславие, честолюбие, или нервная взвинченность, или естественная потребность труда, или ответственность, жажда правды, справедливости, ненависть к подлости? Скорее всего, это было все вместе — и честолюбие, и нервность, и потребность труда, и неистребимая жажда правды. А кроме того — единственное спасение было в работе. Когда оставался один на один с собой, даже в этом бедламе, в этом обмороке чада, в волнах страха приходили воспоминания, и то, что я видел и слышал только вчера или сегодня, сплавлялось с тем, что видел и слышал еще в самом раннем детстве, и все это было похоже на сон, само собой разворачивалось, выстраивалось мозаикой, и, словно кто-то нашептывал на ухо, словно сама собой раскручивалась магнитная лента, оставалось только записывать за этим шепотом.

Тогда и этот слепой серый день, и тоску, и боль, и обиду, и саму безнадежность перетрешь, пересилишь и, как в тигле, переплавишь в себе в слова, в крик.

Это налетало, как вихрь. И бесконечный и нескончаемый, на свободном и вольном дыхании, спокойно и могуче разворачивался период многоцветный, многозвучный и гулкий, со своим дальним и ближним эхом, вовлекая в себя поток жизни и сплавляя красоту и безобразие, паузу и скороговорку, младенчество и старость, глупость и мудрость, прошлое и будущее.

И начисто исчезает приниженность, придавленность, и все возможно, все подвластно.

«Легкие шаги, человеческое дыхание, веселый привет: «Добрый вечер».

Я отвечаю, бросаюсь на дорогу и обнимаю оба ее колена и простенькое платье.

— Добрый вечер, Эдварда...»

Но жизнь Свизляка все время впутывалась в жизнь лейтенанта Глана и Эдварды.

У Свизляка были две большие комнаты с сверкающе натертыми паркетными полами, была мебель в белых накрахмаленных чехлах, на которые никто никогда не садился. И все это было похоже на мемориальный музей, по которому передвигались

осторожно, в случае крайней надобности, в войлочных туфлях, например, если надо было играть гаммы на фортепиано, или полить герань, или стереть пыль с портретов — мужчины с поповскими волосами, со щеками как флюсы, и жирной женщины. И почему-то казалось, что только они и жили в этой комнате и, когда никого не было, судачили между собой, хотя в их разговор все время вмешивался радиолектор.

Завтракали и ужинали Свизляки в темном, крохотном, пахнущем нафталином коридорчике, заставленном шкафом со старыми книгами, на котором стояли оплетенные бутылки с керосином. И сейчас я слышал чавканье всей семьи и одновременно чтение газеты, потому что даже для самого себя Свизляк читал вслух, раздельно, с выражением, с величайшим уважением ко всем высоким Словам и Учреждениям, которые он даже и произносил с большой буквы.

Слышу в коридорчике его шаги, тяжелые, надменные, самоуважающие, и вот он стукнул в дверь. Я молчу, притворился спящим. Он постучал посильнее. Я приоткрыл дверь, он в щелку зыркнул, так и отхватил сразу полкомнаты, потом заглянул мне прямо в глаза, до самой души.

— Ничего не знаете?

— Нет, а что?

— Это потому, что вы радио не слушаете.

Он ухмыльнулся.

— А что случилось?

— Поинтересуйтесь, — он покачал головой, повернулся и ушел в своей длинноволосой собачьей куртке.

Я гляжу на эту громадную, как шкаф, спину, на эти широкие галифе, вдетые в унты, как в тяжелые медвежьи лапы, и в воздухе слышу запах псины. На губах у меня горечь.

Я включил радио. Черная плоская тарелка репродуктора зашипела, захрипела, словно откашлялась, и сообщила:

— Крупные небесные камни падают раз в две-три тысячи лет. Внутри они сохраняют холод далекого межпланетного пространства...

Я выдернул вилку. Читать я уже не мог.

Я смотрю в окно. Напротив строят новый генеральский дом. Одну секцию уже сдали, вторая в лесах.

Ровно в девять утра выходит генерал, застегивая на ходу шинель, садится в черную машину и уезжает. Тогда другой шофер задним ходом подкатывает к подъезду кофейную машину, и как раз в это время выходит из подъезда человек в драповом пальто и пыжиковой шапке, закуривает папиросу, садится в машину и уезжает.

Вслед за тем выбегают из подъезда две сестры, быстро на ходу пудрятя и разбегаются в разные стороны. Я слышу лишь стук каблучков по дощатому строительному тротуару.

Потом появляются рабочие на лесах, они советуются, перекуривают и начинают работать. Потом приходит начальство. Работа приостанавливается, и теперь курят все вместе — рабочие и начальство.

Слышно, как пришел почтальон, застучал крышками почтовых ящиков.

Я вышел.

Широкая дверь вся была усеяна ящиками и казалась бронированной, и на всех ящиках висели замки.

Опять почтальон перепутал, и мой почтовый ящик был пуст, а в дырочках ящика Свизляка белела моя «Правда». Ящик был старый, покоробленный, еще довоенный, а может, и дореволюционный, но свежеекрашенный, запаянный где надо и даже с

какими-то цветочками по синему полю. И сделан из такой толстой жести, что казался стальным и несгораемым. И закрыт он был не на замочек, а на такой замок, словно в него опускали не письма и газеты, а казначейские билеты. Когда Свизляк приходил, перед тем как открыть ящик, он осматривал его со всех сторон, как сейф, — не взорвали ли?

И, как обычно, принимаешься карандашом подталкивать к щели сложенную вчетверо газету, захватываешь ее вилкой, уродуешь, рвешь и тащишь, и хозяйки, по обыкновению, с интересом наблюдают за операцией. Им приятны мои муки и еще больше, что это ящик Свизляка. Наконец я все-таки вытащил изорванную в лохмотья газету, скользнул по серым, однообразным полосам, похожим на вчерашние, позавчерашние, и прошлогодние, и позапрошлогодние, и в самом конце номера, где всегда самое главное, страшное и обнадеживающее, как ножом полоснуло: — Хроника. *Арест группы врачей-вредителей.*

Я стал жадно читать, и сразу меня прихватило за горло. Я читал и читал, и то все понимал, то будто заволакивало туманом, и с чувством отворачивания и остановившегося ужаса снова прочитывал и не верил, и снова читал и не мог отложить газету, что-то во мне оборвалось.

Серый, скорбный, линиястый свет безнадежно сочился сквозь крохотное окно, которое и не было никогда окном, не было задумано тем далеким архитектором, кто вдохновенно некогда рисовал на красивой картинке барский особняк, а было просто дырой в глухой стене, прорубленной кем-то из поселившихся тут до меня, так же случайно и дико, по слепой воле, и застекливших эту дыру.

Это был один из тех коротких, серых, жутких дней, какие бывают в декабре — январе, почти не день, а так — клочок дневного света, словно солнцу, небу надоело светить, радоваться и ликовать, и само время на миг смежило глаза, предоставляя людям думать, что они продолжают жить.

Глава вторая

На катке было обычное утреннее общество, все тот же Валерий Валерьянович, директор цветочного магазина, сивый, лукавый старичок в вязаной шапочке и в белых, шнурованных до колен ботинках, на фигурных коньках, капризно и жеманно поднимая то одну, то другую ногу, вырисовывал известные кренделя и фасоны, а за ним высокий, худой, как свечка, с маленькой головкой нарцисса, зубной техник, а затем и еще старичок, который уже стал ссыхаться, уменьшаться, и все они составляли кружок, и, наблюдая их ледяное олимпийство, я совсем успокоился.

Рухнул дом Романовых, дом Гогенцоллернов, исчезли партии и классы, пыль осталась от Гитлера, а этот нейтральный легкомысленный кружок танцоров оказался гранитнее, незыблемее.

Вот так и получается, проходят революции и войны, восстания и чистки, а все заседает в старом составе урологическое общество и стоматологическое общество, и так же собираются филателисты и нумизматы, меняя монеты, карандаши и спичечные этикетки.

Я натянул шерстяные носки, надел жесткие прокатные ботинки с коньками, крепко зашнуровал и потом еще перевязал, перебинтовал белой тесьмой, и встал на ноги, и почувствовал какую-то дополнительную железную, стальную режущую силу.

Рядом на скамеечке крохотная девчушка в ярко-желтой, как одуванчик, шапочке, оранжевом шарфе и высоких, туго шнурованных белых ботиночках с серебряными

фигурными коньками. Она сидит, как и все, устало вытянув ноги и прикрыв глаза, и лицо у нее тоже серьезное, отдыхающее.

— Сколько тебе лет?

— Четыре, — отвечает она, не шелохнувшись из своего покоя.

Четыре! Неужели так может быть? Даже страшно, даже жутко подумать, сколько ей жить, и жить, и жить, и сколько увидеть.

— Порядок! — вдруг говорит она, и вскакивает на конечки, и, маленькая, тоненькая, в шапочке-одуванчике, идет к морозной двери на лед.

Вниз по обледенелой лестнице она не спускается, а перескакивает, как кузнечик, и вот уже коньки ее звенят на льду.

Она сразу же начинает кружиться и входит в ритм фигуры, и движения ее легки и естественны, словно распускается цветок.

И я люблю ее, эту незнакомую девчушку. Я даже не завидую ей, я ее просто люблю.

Когда я вышел из темной раздевалки, распахнулись серые, разорванные, низкие зимние тучи, и засиял золотом снег, и я ослеп от солнца и радости.

И мимо заснеженная аллея, и красные снегири на кустах, я выскочил на ледяной простор набережной, вдали Воробьевы горы и алое ледяное солнце, и сразу все отбросило, отлетело, будто унесли ветром темное утро, и чад, и гвалт где-то жившей сейчас квартиры на Арбате, и ушла в небытие Великая эпоха, словно то приснилось и вернулось детство, веселая Костельная гора, и на коньках вниз, вниз, крутись волчком, лети в снежном вихре, и летят, разрываясь, звезды, и все подвластно, все возможно там, впереди, под пологом ночи, под звездами, на которых живут ангелы.

Девушка, мелькнувшая на повороте в черно-белом свитере, похожа была на ласточку. Она оглянулась. Я ее нагнал, поехал сзади, разглядывая бедра, ноги, обогнал, заглянул в лицо, долго шел с ней рядом нога в ногу, слыша скрип беговых коньков о лед, заговорили неожиданно, она свернула в тихую аллею, и мы пошли одни, спустились на зеркальный лед Царицынского пруда, с заснеженными ивами на крутых берегах, и на полном дыхании сделали несколько кругов, и ветер, и солнце, и воля выдули все темное, тоскливое, и снова была жизнь, юность, надежда, и все были красивы, веселы, молоды. Как все просто и хорошо, если вокруг только снег.

Только я вышел со света и сверкания катка на снежную аллею и, неловко ставя ноги в коньках, пошел, как на шпильках, по скрипящей замерзшей дорожке, я увидел — в конце аллеи стояли, выделяясь на свежавыпавшем снегу, двое в темных бобриковых пальто, и сразу понял, что это такое, всем существом, измученными нервами, всей сразу вскипевшей кровью, понял, что ОНИ МОИ, и с этой секунды мы связаны нитью, крепче которой нет на свете. И тут моя судьба, темная пещера, каюк, амба.

И этот день, и яркое, с утра красное зимнее солнце, и розовые полосы на снегу, и белейшие березы, и легкий, пушистый искрящийся снежок, и звуки сочные — все окрасилось в этот серый, мутный, тошнотворный цвет страха и ожидания, цвет одиночества.

Я сразу узнал их стопроцентно, зная уже по темным бобриковым пальто и темным суконным ботам, или по этой особой озабоченности их стояния, и даже по тому, что они не глядели на меня, а усиленно разговаривали между собой, этакие веселые приятели в солнечный зимний день на свежем воздухе.

И только пережитый, только освещавший меня вольный, распахнутый на все стороны солнечный мир снега, и неба, и ветра, которым я еще весь был пронизан, разгорячен, этот яростный мир вдруг сузился в крохотный, с подтаявшим, темным, затоптанным снегом пятячок, на котором я стоял на коньках, не зная, куда идти — впе-

ред в раздевалку или бежать назад в оставшийся за спиной мир, снежный, и они как бы заметили мою нерешительность, с интересом наблюдая за мной. Я будто вошел в глубину вогнутого зеркала, живой научный мир затих и притаился, а я раздвоился, и шел и видел самого себя, и тот, которого я видел со стороны, шел прямо, твердо, неукоснительно на коньках, словно на ходулях, а тот, который был я, чувствовал, как подкашиваются ноги.

Грязно-коричневые, совершенно одинаковые, или, как говорят дипломаты, идентичные, до последней пуговицы, до последней строчки бобриковые пальто и шапки фальшивого котика — близнецы до последней пушинки, снятые с одного конвейера боты, даже, по-моему, одного размера, хотя они были разной комплекции и ноги у них должны были быть разные, а оттого и лица их, на самом деле совершенно разные, у одного пухлое, равнодушное, бледное, как разваренный картофель, а у другого остренькое, болтливое, подвижное, тоже казались одинаковыми.

Они не сошли с дорожки и, разговаривая, не смотрели на меня. И, пройдя прямо впритык, я почувствовал горькую, обветшалую сырость их фальшивых шапок, ток их напряженного внимания как бы коснулся меня и крепче связал с ними. Вдруг меня словно ударило. Это был уловленный сбоку внимательный, именно на меня, целиком на меня направленный взгляд, словно мимоходом кольнул маленький черный глаз вороны.

Перед тем как войти в раздевалку, я оглянулся. Один из них стоял, расставив ноги, и глазел на облака, а другой пошел в телефонную будку и стал поспешно набирать номер.

Он говорил что-то быстро и суетливо, одновременно открыто, не таясь, глядя сквозь стекла на меня, медленно разглядывая и как будто с натуры описывая тому, в телефон, мою внешность. И вдруг мне показалось или померещилось, я по губам различил, что он ясно назвал мою фамилию, назвал по слогам, и мне стало душно.

Темная раздевалка казалась мышеловкой, гардеробщики, казалось, уже все знали и были с теми заодно, что-то подозрительно долго искали пальто, путали номера, вроде издали косились и следили, как я снимал коньки.

Что это, начало или конец? Только самое начало, только появился в прорези мушки, или уже все готово, все собрано, прошито скоросшивателем и приложена справочка, где все сформулировано и наверху росчерк, иероглиф «взять», и это уже только проверка на месте, чтобы поаккуратнее, попроще, почище взять, чтобы не уехал в командировку, не ушел в гости, на свадьбу.

Как темно было в раздевалке, как ужасно темно, неудобно, и, пока я ходил к окошечкам, в одном получал пальто, в другом обувь, потом на низенькой скамейке снимал коньки, я все время думал о них.

За много лет боязни, страха, ожидания прекрасно наловчился их узнавать, не так, может быть, и глазами, а сразу всеми пятью чувствами одновременно, и среди тысячи людей немедленно различал, находил, чужал именно их, по силуэту, по лицам серым, невыразительным, словно обреченным на эту серость, по глазам, как бы отводящим от вас взгляд, но на самом деле глядящим именно на вас.

Они возникали вдруг у подъезда, будто ожидали свидания с любимой, или оказывались рядом в трамвае с газеткой в руках, и глаза их, читавшие о событиях в Индонезии, поверх тех суматошных событий, видели только вас; или в ресторане за соседним столиком с бутылкой нарзана и пачкой «Примы», кейфующие и отчужденные. Были ли они для тебя или для других, все равно ты узнавал их и боялся.

В последнее время я узнавал их даже там, где их не было, в бане или в театре, или вдруг в лесу на даче, они принимали разное обличье, прикидываясь почтальоном, официантом, носильщиком на вокзале, и взгляд их, странный и неожиданный, пронзительный, пугал до дрожи, и трудно было дышать и жить.

Я медленно расшнуровывал ботинки, медленно и щепетильно вытирал коньки, потом несуетливо стянул свитер, медленно завернул в газету, спрятал в портфель, посидел немного на скамейке, отдыхая.

Все мое существо, все, что есть Я, ждало их ежедневно и ежечасно, не забывало про них никогда, неожиданный стук в дверь, и всегда первая мысль — они. «Кто там?» — и отвечают: «Телеграмма», или «Мосгаз», или жалкий виноватый писк: «Извините, нет ли у вас спичек?»

Когда ты только и думаешь об этом, когда ты столько раз это видел, как же тебе не ждать этого и для себя. И это срослось с тобой и стало сном и явью, осью твоей жизни, вокруг которой вертелось все остальное. Только ты все время отмахивался, закрывал глаза, отсекал от себя, стараясь не думать и не верить в это. Просто все время глупо и ничтожно обманывал себя.

Но срок пришел, отсрочка, как ни была она бесконечна, кончилась.

Когда я вышел из раздевалки, черных близнецов не было, солнце сверкало на снегу, и слышалось капанье с крыш, и я рассмеялся, сердце переполнилось радостью и облегчением, я шел снежной аллеей свободно и весело.

Но выйдя из-под арки, из-под той массивной серой бетонной арки, которая парадной римской колоннадой стоит одна, без дворца, сиротливая и замерзшая в снегах, я увидел, что черные приятели были уже тут, они стояли, разговаривая друг с другом на солнышке.

К остановке подходил трамвай. Вожатый зачем-то дико трезвонил, и только когда вагон надвинулся и я увидел за стеклом в тулупе человека, я понял, что это я стою слишком близко к рельсам, и отодвинулся, трамвай обдал меня звонкой снежной пылью. Первый вагон прошел мимо, и я вошел с задней площадки и протянул деньги кондуктору в нитяных перчатках с отрезанными кончиками на красных грубых пальцах.

И когда трамвай уже почти тронулся, близнецы побежали вдвоем, рядом, как цирковая пара, и на ходу вскочили с задней площадки последнего вагона.

Трамвай, грохоча, въехал на мост, и вибрация цепного моста передалась вагону, и дрожь прошла по мне, и стало гулко и светло от белого сверкающего простора реки.

Цирковая пара близнецов стояла на задней площадке в своих фальшивых шапках и мирно беседовала.

Я сошел у метро «Парк культуры и отдыха» и, не оглядываясь, почувствовал, что они тоже сошли, и, так и не оглядываясь, я медленно, словно ничего не подозревая, пошел к троллейбусной остановке у бывших Провиантских складов, все время спиной, затылком, плечами чувствуя, что за мной идут.

Крепкое, маленькое, твердое, как бы замерзшее красное зимнее солнышко пробивалось сквозь вихревые снежные тучи, но тучи побеждали солнце, обволакивали черным дымом и скоро совсем закрыли. И тогда снег повалил тяжелыми мокрыми хлопьями. Погода менялась, и, казалось, ветер дул с разных сторон, и от этого на душе становилось тревожно, нехорошо.

Я остановился у забора и под снегом стал прилежно читать афиши, все афиши подряд: «Великий государь», «Иван Сусанин», «Садко», «Хождение по мукам», «Хитроумная влюбленная», «Четыре жениха».

Начитавшись афиш, я подошел к газетному стенду и привычно и скучно скользнул по серым полосам, без единого клише, сверху донизу туго набитым унылым набором.

Говорили, что Сталин однажды по какому-то поводу выразил неудовольствие газетными фотографиями и сказал, что лучше бы вместо картинок дали текст, и ре-

дакции поувольняли фоторепортеров, и цинкографии стояли без дела. Так же, как однажды державной рукой поставил он в рукописи над «е» две точки, две давно исчезнувшие точки, и центральная газета тотчас же вышла с передовой, в заголовке которой было специальное слово с буквой «ё», и по всей статье точки были рассыпаны, как мак, и все газеты изоцрялись и придумывали слова с буквой «ё», чтобы видели, как исполняются его указания, его капризы.

И опять я натолкнулся на «хронику». И снова стал я читать, и читать, и перечитывать. И тот откуда-то сбоку глядел на меня и не мог дождаться.

— Как делишки, бегемот? — сказал веселый голос.

Я знал ее давно. Сначала она хотела быть киноактрисой, потом художницей, потом переводчицей и успокоилась, став ретушером в модном ателье.

— Хочу сделать костюм с серым каракулем, — сразу же затараторила она, — узкую уютную юбочку с двумя складками, не будет под пальто смотреться, но мне наплевать. А на груди абстрактную брошку с древнеармянской вязью. Звучит? — она сощурила глаза. — Мне идут более убитые цвета. Сейчас модно малина, разбавленная молоком, или цвета гнилой вишни...

— Наташа, слушай, что я тебе скажу, — прервал я ее. — За мной ходят, понимаешь?

— Кто ходит?

Она стремительно взглянула вдоль улицы.

— Не оглядывайся, главное, не оглядывайся.

— А что случилось? В чем дело?

— Не знаю, вот сейчас я обнаружил, что за мной ходят два типа...

— А кто они такие? — спросила она с наивностью растения.

Я усмехнулся.

— Знаешь что, пойдём со мной, может быть, они отстанут? — продолжала она.

— Нет, они не заблудятся.

— Ну, тогда поезжай, я тебе позвоню, узнаю, как ты доехал, — сказала она, как мать маленькому мальчику.

— Не надо, телефон уже, наверно, слушают.

— Кто слушает?

— Кому надо.

Она покачала головой.

— Что же теперь будет?

— Не знаю.

— Но ведь это кошмар. Я не представляю себе, чтобы я могла с этим жить, я бы сошла с ума.

— Наверно, это тяжело сначала, а потом привыкаешь, потом как ни в чем не бывало.

— Откуда ты знаешь?

— Рассказывал, кто это уже имел, потом даже скучал без этого, представляешь, чего-то не хватает, как-то пусто.

— Байки, — она засмеялась. — Нет, я не хочу, не хочу и не хочу. Смотри, он глядит нагло прямо сюда, бессовестный.

— Это его служба.

— Не хотела бы быть на его месте.

— Работа не хуже и не лучше всякой другой, — вяло сказал я.

— Нет, это уж извини.

— Правда, работа хуже не придумаешь, каторжная.

— Может быть, к кому-нибудь обратиться, чтобы они перестали это делать? — сказала она.

— К кому?

— Я не знаю, но наверно, кто-то есть там наверху, кто этим занимается. Нельзя же так жить, когда за тобой ходят. И это ведь может плохо кончиться.

— Боюсь, это уже плохо кончилось.

— А что ты сделал?

— Если бы я знал.

— Но это ведь не может быть так, ни с того ни с сего.

— Может быть.

— Но ведь не за всеми же ходят.

— За всеми, — вдруг решил я. Она открыла рот.

— Теперь уже за всеми, — убежденно сказал я.

В это время к остановке у Провиантских складов подкатил троллейбус.

— Ну, я поехал.

— Позвони мне, я буду ждать, — закричала она. Я кивнул и вскочил в троллейбус, почувствовав, как за мной тотчас же закрылась дверь.

Троллейбус тронулся и тут же остановился, и один из черных близнецов, непонятно как и откуда появившийся, уже влезал в неожиданно открывшуюся перед ним переднюю дверь.

Я отвернулся и стал смотреть в заднее стекло, и вдруг увидел, словно на экране, как из-за угла появился второй близнец и на расстоянии спокойно пошел за Наташей в метро.

Значит, теперь это будет вот так, именно так. Стоит мне только поздороваться или заговорить с кем-то, тотчас черный раздвоится, от него отделится тень и пойдет за тем по следам, как за зайцем. Все вокруг станут зайцами. Полным-полно зайцев.

Он стоял там, впереди, среди пассажиров, держась за ремень и покачиваясь в такт быстрому ходу троллейбуса, просто один из пассажиров, едущий по своим делам, в поликлинику, или по вызову военкомата, или в гости выпить.

Потом ему стало скучно, и он вынул из кармана газетку и принялся ее читать.

Я искоса разглядывал его. У него было бледное, мучнистое лицо, изможденное волнениями и интригами его секретной напряженной работы.

— Остановка Киевский райком, следующая Смоленская, Гастроном № 2, вино и закуска, — объявил кондуктор-затейник.

Троллейбус остановился, я быстро протолкнулся и неожиданно сошел с задней площадки. Машина тронулась. Я был один. Один, как в безвоздушном пространстве.

Троллейбус уходил, увозя его с газеткой. Он был теперь за стеклом, как рыбка в аквариуме. Но неожиданно он рванул газетку вниз, и заметался, и забился вперед, что он там такое сказал водителю, только троллейбус на полном ходу затормозил и остановился на перекрестке, и машина, следующая за ним, со скрежетом застопорила, раздвинулись двери, и из троллейбуса выскочил, просто вывалился, мой и, не оглядываясь, перебежал между машинами через улицу на ту сторону, и уже оттуда с тротуара взглянул на меня через поток машин. И вдруг охладел и, как ни в чем не бывало, стал прогуливаться вдоль тротуара.

Я пошел вперед.

И опять все ушло, словно в глубь вогнутого зеркала, и там, в потустороннем, отстраненном мире, стояли холодные, пустые дома под снегом, летели машины, бегали люди-карлики, как шахматные фигурки, равнодушные, чужеродные, безучастные.

Он шел где-то там по другой стороне улицы и через поток машин глядел на меня.

Надо пройти свои ворота, пройти, как будто их и не знаешь, и там куда-то деться, куда-то исчезнуть, запутать следы.

Но когда я подошел к крашенным суриком воротам, я, словно кто-то грубо толкнул меня в спину, покорно вошел в свой двор.

Мы не научились бежать, не научились скрываться, не было этого в нашей крови, мы были в своем государстве и очень верили, слишком долго верили.

Глава третья

Я с силой захлопнул дверь, и будто взрывной волной меня бросило, прижало к стене, контузило, все перемешалось, и стало трудно дышать.

Жизнь моя, разрезанная пополам, ушла как бы в глубь бинокля и стояла там вдали, чужая.

Смутно, серо, зыбко сеялся поздний свет. Я тихонько, вдоль стены, не дыша, на цыпочках пробрался к окну.

Как заведенные игрушки, катились мимо заснеженные троллейбусы, куда-то шли люди с авоськами, с портфелями или просто так, заложив руки за спину, и все это в полном безмолвии, как в кинокартине с выключенным звуком, как в вакууме, и не имело смысла и непонятно было, зачем.

Неистребимая тоска, в которую я уходил с головой, растворялся в ней, как будто на лицо наложили салфетку, пропитанную хлороформом.

Вот так же стоял я со стесненным сердцем, прижавшись в угол разрушенной хаты, там, на Полтавщине, за станцией Яреськи, глядя в выбитое окно. И рыча брала взгорье танкетка с белым крестом на башке, цыкали серые мотоциклисты с черными автоматами на груди. Потом совсем близко мимо прошли зеленые шинели, а я стоял босой, без шапки, и я был — весь — сила, весь — сопротивление, весь — напряжение. Я знал — на земле могут остаться только я или они, вместе нам не ужиться, я готов был умереть, и я заранее сказал себе: «Я убит», — и уже ничего не боялся. И вышел из кольца. А теперь мимо катили троллейбусы, фургон «Мороженое», шли бабы с бидонами, и я был весь слабость, весь — страх.

Если бы я был виноват, если бы было за что, во мне жило бы сопротивление, я бы старался исхитриться, удрать, исчезнуть, я бы боролся, я бы укрепился на своей мысли, на своей вере, а теперь я был как муха в паутине.

На что я мог надеяться сейчас? Я даже не видел своего палача, может быть, он жил где-то рядом на улице, ежедневно утром проходил мимо моего окна и курил папиросу. Может быть, я сидел рядом с ним в кино и смеялся или плакал вместе с ним, а он будет меня мучить и пытаться, и сломает позвоночник, во имя чего, я не знаю, и он не знает, просто потому, что надо кому-то по плану сломать позвоночник, иначе все распустятся, разбалуются.

И никто никогда об этом не узнает. Вот что было страшно, безнадежно.

Я один в этой комнате, один на один с этими серыми, масляными стенами, с этой голый на длинном шнуре электрической лампочкой, и еще молчащий черный телефон. Он молчит, как заколдованный, он уже знает, что со мной стряслось, наши телефоны знают все заранее, а может быть, его уже выключили, друзья, если узнают, что случилось, скорее сунут палец в огонь, чем начнут набирать мой номер.

И внезапно телефон ожил, зазвонил. Он звонил необычно резко и настойчиво, истерично и вдруг замолк. А я глядел на него, и у меня кружилась голова.

Как хорошо еще было жить вчера, позавчера, и как не ценил, никогда не ценил жизнь, все был недоволен и угрюмо бродил по улицам, и считал себя самым несчастным, смотрел на лица гуляющих под ручку, на ожидающих такси, на смеющихся. Все были счастливы, все куда-то спешили, у всех была цель.

Что один ты такой неприкаянный, несуразный, разнесчастный, родившийся с этим вечным беспокойством, вечной необходимостью что-то немедленно делать, истратить, испепелить свои силы, вечным ожиданием чего-то другого, лучшего.

Редкие, считанные дни жизни был ты спокоен.

Почему всегда думаешь — вот проживу сегодняшний день, пройдут неприятности, боль, забота, и завтра будет лучше. Неужели только обманываешь себя?

В сущности, до сих пор все несчастья, болезни были кажущиеся, надуманные, призрачные, какой-то оптический обман, волны страха, а вот теперь впервые беда настоящая.

И, может быть, впервые я так ясно увидел, что жизнь проходит, ускользает, текущая беспрерывно, неостановимая, даже какая-то бессознательная. Вот эта минута, этот миг бытия — серое небо, мелькающий, сверкающий снежок, и на противоположном тротуаре две женщины в шляпках и резиновых ботах стоят и разговаривают — этот миг пройдет и никогда не повторится. И казалось, страх, как сырое тесто, облепивший меня, стал таять, рассеиваться и перед этим вечным, понятным был смешным, карликовым, нелепым. Но это только на миг.

Вдруг я его увидел. Он спокойно прошел в своей котиковой шапке к воротам и стал впритык, тихо, незаметно, не напористо. Немного постоял, потом вытащил из кармана пачку папирос, щелчком выбил одну, пачку спрятал, а папиросу стал медленно вертеть в пальцах. Потом достал спички, отвернулся к воротам, прикрылся воротником, зажег спичку и прикурил, и отсюда видно было — пошел дымок. Он спрятал спички и стоял у ворот и курил, дым пуская осторожно куда-то в сторону, чуть ли не в рукав.

Кто он такой, как его зовут? Почему-то казалось невозможным, что его зовут просто, обычно, Юра или Боря, или Витя, и что, кроме вот этой основной жизни, у него есть своя, частная, и еще сегодня он придет к себе домой, где у него отец и мать старики, которые даже не знают, где он работает, а может быть, есть и жена и даже дети, которые идут в класс с тетрадями, и придут друзья, и еще вечером он с ними выпьет и забудет партию в козла.

— У вас горит плитка? — визгливо закричали из-за дверей.

— Какая плитка?

Это была Зоя Фортунатовна, маникюрша в тюрбане из полотенца, и будто ею выстрелили прямо из сумасшедшего дома, такие у нее безумные глаза.

— Смотрите, как вертится счетчик.

Она схватила меня за руку и потянула к счетчику. Он гудел и временами визжал, словно просил пощады.

— А-а! Это, наверно, Пищики включились!

И она убежала в своем тюрбане.

Сначала я разорвал телефонную книжку, потом вынул из ящика и стал рвать письма, фотографии.

Это уже было раз, тогда, на Чистых прудах, в 1937-м.

В тот яркий июньский день, горячий, обжигающий, когда комната была залита солнцем, в обещающий счастье день, я сжигал в черной голладке дневник трех матросов срочной службы, альбом, сшитый из гранок газетного срыва, где было смешное и опасное описание кубрика, непочтительный портрет старшины, и стихи, и эпиграммы, и карикатуры друг на друга, и все на свете, и фотографии трех мушкетеров в моряцких фланельках, клеше и бульдожьих башмаках, снятых вместе и отдельно, и анфас, и в профиль, и с девочками-подружками, кудрявые головки, головки-перманент, ситцевые платица...

А потом война, азарт и энтузиазм, и боль, и невыдуманные страдания, и как-то все позабылось, рассеилось, истлело.

И вот все это с новой, непостижимой, ожесточенной силой началось в тот осенний октябрьский день, когда вдруг выскочило словечко космополит и начались собрания, те долгие, ночные, прокуренные собрания, похожие на сон, на горячечный бред, после которых не хотелось и незачем было жить.

Небольшой круглый, обшитый старинными панелями, с дубовыми потолочными балками зал был жарко, слепяще освещен яркой люстрой. И я сверху, с сумрачных хоров, где всегда пересаживал собрания, муку, страх, недоуменно глядел в это душное многолюдство, на обилие седых и лысых голов, и на трибуне в это время, качаясь, стоял, с бледным, как клоунская маска, искаженно-больным лицом, кривобокий человечек и, заикаясь, но все еще громко, но все еще красиво, по-польски грассируя, пытаюсь сохранить достоинство, пытаюсь удержать в себе веру в свое существование, в свое право защищаться, рассуждать, и, распаяясь, по старой привычке еще даже несколько высокомерно, несколько с преимуществом ума, с наглой, как многим казалось, принципиальностью, сказал: — Ленин нас учил... — И из президиума человек с голубой молодой сединой, медленно наливаясь кровью, закричал: — Не кощунствуйте, пигмей!

И собрание ответило одобрительным гулом.

И не было ничего — ни детства, ни чести, ни луны, ни самопожертвования, и я почувствовал такую незащитность и бессмысленность всей своей дальнейшей жизни. (Я еще не знал и не мог знать тогда, что в другое время, в другой день и час то же собрание, почти в том же составе, за вычетом умерших от инфаркта, инсульта, пьянства и рака, будет аплодировать и весело и беззаботно смеяться остроумию этого же кривонного человечка, начисто позабыв, что оно с ним делало, а он им простит.

И придет день, в этом же зале, под той же люстрой в траурной кисее и при закрытых простынями зеркалах, произнесут печальные и высокие слова, какой это был замечательный человек. А он гордой крупной головой, возвышаясь в красном гробу, установленном на длинном столе президиума, костяным лиловым, отрешенным лицом как бы скажет: «Ах, это не имеет никакого значения».)

В ту грязную декабрьскую, оттепельную ночь страшно было идти в свою комнату, страшно оставаться одному, и, не заходя домой, я ушел на Курский вокзал. На следующее утро в Белгороде в вагоне было по-зимнему светло от снега, а на рассвете третьего дня уже мертво и тускло сверкал Сиваш, в Джанкое было по-апрельски тепло, туманно, сыро, и сердце медленно отходило, а в Симферополе солнце, осенние желтые деревья, яркие краски гор и дыханье курорта. В курортном управлении я купил горящую путевку.

На перевале был черный туман, машина петляла среди призраков, и к вечеру Ялта засверкала ожерельем бульварных огней, шел теплый обильный дождь. Штормящее темное море заливало бульвар, и было чувство потопа, конца света. И мне стало вдруг все безразлично.

Санаторий имени Орджоникидзе, построенный в стиле эпохи излишеств, похож был на мраморный дворец.

В зимнем нетопленном здании пахло казармой, грубыми одеялами, наглядной агитацией кумачовых лозунгов и физиотерапией. Долго я не мог найти дежурной сестры, а когда наконец нашел сестру в затрапезе, она удивленно поглядела на меня, отобрала путевку и молча выдала какие-то талончики.

Я поднялся по широкой парадной лестнице и потом шел длинным, глухим коридором и не понимал, зачем я здесь, зачем эти мраморные колонны и гипсовые лепки, изображающие шахтеров и толстых жниц с серпами.

По коридорам дохло бродили и курили, и маялись зимние санаторники, из красного уголка шел стук козлятников, кое-где сидели на кроватях в пальто, выпивали

и после пели песни. И так стало мне дико и чуждо, что казалось, я попал в скучный, фальшивый кинофильм.

Санаторий в это время года полон был вертухаев из Воркуты, Норильска. Утром, приняв предписанные лечебные процедуры, «испанский воротник» или Шарко, они потом весь день сидели в накуренном красном уголке, забивали козла или состязались в шашки, а некоторые по палатам составляли пульку, делая лишь перерыв на обед и ужин.

Стахановцы, отдыхающие по бесплатным соцстраховским путевкам, колхозники из Таджикистана и Узбекистана, щеголявшие в тубетейках и ярко-желтых сапогах с галошами, бедолаги-тубики, пятисотницы, последовательницы Марии Демченко, весь день маялись по бульвару, ездили в экскурсии на Ай-Петри, в Алупку, во дворец Воронцова, на Ласточкино гнездо и в Никитский ботанический сад, где им показывали ма-монтово дерево; а эти почти не выходили из санатория и, заказав у эвакуатора обратный билет, успокаивались до отъезда. По вечерам они смотрели в санатории кино «Падение Берлина» по Чиаурели и Павленко или «Свинарка и пастух», а по некоторым дням были трофейные фильмы. Однажды я смотрел вместе со всеми картину о жизни и сумасшествии Шуберта, и в зале мне казалось, что это я схожу с ума.

В палате со мной жили майор и два капитана, и еще один штатский, который был вместе с ними и оттуда же, откуда они. И ночью я боялся заснуть, как бы во сне вслух не сказать, не закричать что-то про все, про то, что я думал и знал, и несколько ночей не спал и слышал, как майор и капитаны храпят, а гражданин свистит во сне, как они поочередно просыпались и курили, и снова засыпали, храпя, и как черноморский ветер мягко стучал в окно.

Я пришел к главному врачу. У нее были заплаканные глаза. Я слышал, что выселяли из Ялты ее мужа-грека, в это время выселяли греков, армян и караимов. Заикаясь и стыдясь, я сказал, что не сплю из-за храпа соседей, и женщина, внимательно поглядев на меня красными бессонными глазами, сказала, что я могу ночевать в ее кабинете. С тех пор я спал на кожаном диване главврача, говорил и кричал во сне, мне, глупому, молодому, снились собрания и что меня прорабатывают, и все от меня отказались и при встрече отворачиваются. И я хотел, чтобы еще что-то случилось, чтобы еще больше наговорили, наклепали, топтали до конца, довели, и в этом неистовстве погибшей жизни я черпал силы сопротивления и говорил всем: «Что вы уже сделали со мной, а я все крепче и не сдаюсь, нет, не сдаюсь...»

И идут дни за днями, сменяется день ночью и ночь днем, мертвые, бесплодные, в слухах и ожидании, изо дня в день, из ночи в ночь в ожидании неминуемого.

Второй раз в жизни я готовился к этому. Я прощался.

И как тогда, в 1937-м, я думал, что если это не случится, уйти на Волгу, в грузчики, Нижний Новгород. Почему-то представлялась именно Волга и именно Нижний Новгород, а не Горький. Так и теперь, уничтожая бумаги, я думал, если только ночью не придут, уйти из квартиры, уехать, затеряться, жить со своими мыслями, с тем, что понял, и когда-нибудь написать об этом.

Глава четвертая

Я лег на кровать, и тот, стоявший на улице, сквозь стены смотрел на меня.

И все время было ощущение, что это сон. Ведь сколько раз мне снился этот сон, именно этот сон, и каждый раз я просыпался, и все было хорошо. Может, и теперь это сон, и просто я не могу проснуться.

Однажды этот мягкий вкрадчивый человек из отдела кадров мимоходом сказал мне загадочную фразу: «Тщательнее выбирайте своих ближайших друзей». И теперь я стал вспоминать всех своих знакомых и товарищей, и даже тех, которых видел только один раз в жизни, мельком, где-то на улице, в случайной кучке, вспомнил и того, в кепке с наушниками, со странным ноздреватым носом. Вот этот с ноздреватым носом сразу показался подозрительным.

И я поспешно и тревожно вспоминал, что я говорил и как он слушал, молчал или улыбался, и что скрывалось за этой улыбкой. И я каялся, и обливался потом, и проклинал себя, и давал клятву ничего больше не говорить. Господи, господи, боже мой, зачем, кому это нужно было. Если бы я его не встретил, не говорил, как все было бы сейчас хорошо.

Где-то там, в общей или, может быть, специальной картотеке лежала, мирно спала твоя карточка, никому не мешала жить, не толкалась, не выскакивала, не горевала, и вдруг ее, именно ее, спящую, кроткую, забытую, нащупали, вытащили, и уже по ней нашли на стеллажах или в шкафу дело, старое, разбухшее, и на того, кто раскрыл серую папку, глянуло твое лицо, и тот, скользнув по нему, углубился и стал листать, читать твою жизнь, исковерканную грамматическими ошибками, отраженную и гримасничающую в этом анонимном кривом зеркале, самом современном аттракционе самой великой из величайших эпох человечества. А ты ничего не знал, даже не чувствовал, бегал на свидания, сидел за столиком ресторана и ел рыбу в кляре, и читал сказки Андерсена, и жил той элементарной, той мизерной, той еще до поры до времени разрешенной жизнью, и был доволен, и иногда даже счастлив и убаюкан молодостью, здоровьем, надеждой.

Иногда ночью или даже днем вдруг на шумной, веселой улице ощущение надвигающегося несчастья приближалось, будто повисало на груди и дышало в лицо. Что это было? Мираж? Страх? Игра нервов? Или телепатия волнами доносила то роковое, которое как раз в эту минуту свершалось где-то там, в кабинете, высоком и чистом, как зал крематория.

В сущности, я ожидал этого всегда, но когда оно пришло, я никак не мог поверить, что это случилось со мной, именно со мной.

Человек может ко всему привыкнуть, человек — машина, которая на ходу быстро, искренне перестраивается, выворачивается наизнанку, но к этому не может привыкнуть, как к смерти, зная, что она есть, она неминуема, что она достигнет всех, не может себя представить мертвым в гробу, и мысль об этом встречает равнодушно, со странной легкостью неприкасаемого.

— Разрешите звякнуть, — без стука появился пьяный краснолицый молодой мясник из Гастронома, проходящий муж тети Саши.

Он долго, тщательно, с пьяным усердием набирает какой-то невыносимо длинный номер, потом обращается ко мне:

— Не справитесь? — И заплетающимся языком сообщает: — 00-20-00. Дырчатый телефон, не за что зацепиться.

Я набираю номер, но гудков нет. Выдумал ли он этот телефон или перепутал?

— Вы ИР? Научный работник, да? — спрашивает он. — А откуда мысли берете, из фантазии или из головы? — Он над чем-то думает и добавляет: — Вы как пишете — подстраиваетесь или так думаете?

Потом, глядя мне прямо в глаза, говорит:

— Моя работа тоже на мыслях идет, на мыслях-шариках.

Я молчу.

— Я умею очень культурно, интеллигентно подойти, — секретно сообщает он. — Правда, я высшего образования не имею, мать хотела отдать, но... Я немецким языком

обладаю, поэтому и пропал, из-за немки пропал, колечко шамкнул, только успел золотой зуб вставить и проклял германика.

И вдруг ни с того ни с сего говорит:

— А пока в голове есть, я еще буду жить, я завтра к Косте на пикник иду. Понятно?

Он идет к двери:

— Извиняюсь, тысячу пардон, ауфвидерзейн, гуд бай, мерси большое...

Зачем он приходил?

Я приподнялся и из-за занавеса поглядел в окно. Мой все стоял у ворот. Он глядел на всех входящих и выходящих со двора, и некоторые ловили этот фиксирующий взгляд и убыстряли шаг, и, пройдя, оглядывались. Другие ничего не замечали, как слепые, входили со своими авоськами и портфелями, со своими шмотками и иллюзиями, а один даже остановился и попросил у него прикурить. Он внимательно взглянул на прохожего чудака, как бы сфотографировал с головы до ног, потом спокойно, беспечно вынул спички и дал тому коробок, и тот зажег спичку, прикурил, вернул коробок и, кивнув, пошел по улице, попыхивая папирасой, не ведая, к кому прикоснулся.

Как Овидий его почувствовал, — непонятно, существовала ли между этими людьми передача мыслей на расстоянии, или единственный глаз Овидия был так наметан, натренирован, что он сразу все улавливал и понимал, но Овидий усиленно прохаживался мимо ворот с широкой деревянной лопатой, убирая снег вокруг его стоянки, а потом просто вышел безоружный в то же стал у ворот рядом, поглядывая в его сторону тем глазом, на котором нет бельма. Но, очевидно, мой был из другого, высшего ведомства, недоступного дворникам. Он отворачивался и глядел совсем в другую сторону или просто прохаживался до угла и возвращался, не глядя на Овидия. Но удивительнее было всего, что Овидий все это терпел и понимал в самом высшем и ответственном понимании, в любом другом случае он грубо спросил бы: «Зачем стоишь? Документы!», а тут он просто исчез, испарился. Раз он не нужен, он лишний, значит, так надо.

И никто и не подумал спросить: «А кто вы такой?» Все уже инстинктивно, по чутью, уже чуть ли не по врожденному инстинкту понимали, кто это, и откуда, и зачем. Похоже, это уже не только было всосано с молоком матери, но начало уже передаваться в генах, какая-то там произошла перемена, какое-то нарушение или перегруппировка, переброска в извечной цепи нуклеидов, может, самая крохотная, самая микроскопическая, но уже очень живучая и сильно действующая на весь организм.

Если он пришел, и стоит, и смотрит, значит, так надо.

Они просто уже привыкли к тому, что кто-то стоит у ворот, все равно всегда кто-то торчит у ворот чужой, пока не касающийся к их делам, и слава богу, что не касается, ну и пусть стоит, пусть себе на здоровье мокнет под дождем и снегом, если так надо. Это не их, граждан, дело, которые идут по своим сугубо личным семейным заботам, на работу или с работы, или в кино, или пивную, на свадьбу или на кладбище. И они даже взглядом не хотят впутываться, вступать в это дело и замечать, что кто-то стоит и кого-то ждет, и не зря ждет.

И все-таки, как они этого ни хотят, он словно в моментальной фотографии, словно в тон пятиминутке, что некогда была на ярмарках, отпечатывается, тусклый в как бы смытый в своей котиковой шапке и ботах, но, не показывая вида, они проходят мимо независимо, замороченно и гордо, потом не выдержат и все-таки оглянутся, и уже тяжело, с одышкой, словно до того брали гору, поднимутся по железной лестнице и, войдя в комнату, сразу же кинутся к окну и, прижимаясь к стене, маскируясь, поглядят на того, у ворот, изучат хорошенько и, делая свои наблюдения, прикинут, к кому это относится, и уже только потом займутся своими домашними

делами, поджарят на маргарине котлетку, или начнут готовиться к занятиям партпросвещения по «Краткому курсу», или слушают по радио хор Пятницкого, чувствуя себя неудобно, и, время от времени прижимаясь к стене, поглядят в окошко и понаблюдадут, что к чему.

С некоторых пор я чувствовал, как они проходили рядом, по краю. То это был чей-то внезапный, острый взгляд из толпы, на углу улицы, взгляд, направленный именно на меня, а когда я беспокойно оглядывался и искал, тот таял, и можно было подумать, что это мне показалось; иногда тот уже ждал меня в подъезде, когда я приходил в гости, а может, он ждал другого; когда я подымал телефонную трубку, я почти слышал его дыхание.

Когда это началось? С каких пор я попал в их бинокль? И за что?

Меня привели в маленький, тихий домик на окраине, на крыльце бродили куры, в сенях пахло дынями, молоком, медом. Полы в хате были чисто выскоблены.

За столом сидел похожий на ребенка батальонный комиссар в хорошо отглаженной гимнастерке, с двумя новенькими шпалами в петлицах и новой звездочкой на рукаве.

— Почему не в форме? — спросил он меня.

Он посмотрел на меня через стол, словно сквозь пуленепробиваемое стекло. Он смотрел на меня из того, другого, давно отошедшего от меня тихого мира, где еще не было бомбежек, и черных пожаров, и встающих из огня скелетов ангаров, и мычащих на дороге недоенных коров, и гигантских раздутых трупов коней, он смотрел на меня из спокойного деревенского утра, в котором кричали петухи, цвели колокольчики и жужжали пчелы.

— Расскажите, как вы попали в окружение?

— Вместе с армией.

— Расскажите обстоятельства, как вы лично попали в кольцо?

— Я лично не попадал, я попал вместе с армией.

— Кто подтвердит? — Он смотрел мне прямо в глаза.

— Я шел один.

— А чем питались, манной небесной? — батальонный комиссар усмехнулся.

Из боковой двери тихо вошел офицерик и принес на подносе стакан чая в серебряном подстаканнике и вафли на блюдечке. Он пододвинул к себе стакан чая и позвонил ложечкой. Потом вынул из ящика какую-то коробочку, достал таблетку, положил ее на язык и запил из стакана чаем. Проглотив таблетку, он прислушался к себе, и так он сидел несколько минут и прислушивался. И все это он проделывал, будто он был тут один.

— А партбилет где закопали? — спросил он.

— Я его не закапывал.

— Сжег?

Я вынул партбилет, красную мокрую книжечку. Он взглянул на фотографию, потом на меня, небрежно перелистал, осведомившись, уплачены ли взносы.

— Номер партбилета? — спросил он.

Я сказал.

— В каком году вступили в партию?

Я ответил и на этот вопрос.

— Где получали партбилет?

— В Киевском райкоме Москвы.

— На какой улице райком?

— На Смоленской-Сенной.

- Номер дома?
- Номера не знаю.
- Где вход в райком?
- С Глазовского переулка.
- Кто секретарь райкома?
- Не знаю, они менялись.

Он снова перелистал книжечку.

- С какой суммы платили членские взносы?

Я назвал сумму от и до.

- Почему тут стоит двадцать копеек?
- Это я тогда получал стипендию.

Он положил партбилет возле себя.

— А почему вы не застрелились? — Он спокойно посмотрел на меня. — Коммунисты не сдаются в плен, — пояснил он.

- Я не был в плену.
- Советский человек приберегает последний патрон для себя.

Я смолчал.

- Был контакт с немцами?
- Один раз задерживали.
- Где, когда?
- На прошлой неделе; мы проходили деревню.
- Какую деревню?
- Названия не помню, на Полтавщине за станцией Яреськи. Мы проходили деревню...

- Кто это мы?
- Я и еще несколько человек, какой-то авиатехник.
- Откуда знаете, что он авиатехник?
- Так он сказал сам, и у него была летная форма, летная фуражка.
- Продолжайте.

— Так вот, был я, этот авиатехник, какая-то девушка и еще один боец. Мы проходили село. Я не хотел заходить в это село, мы стояли у крайней хаты, и я сказал: «Не надо», — но авиатехник сказал: «Там нет немцев, разве вы не видите? В селе никого нет, мы разживемся хлебом, салом, попьем молочка». И мы пошли. А в это время из одной хаты вышли немцы. Мы хотели пройти мимо и сделали вид, что не видим их, что нам все равно, есть они или нет, но от хаты закричали: «Але фир! Все четыре!» — и один из немцев махнул автоматом. Мы подошли. Они стали нас обыскивать, сначала авиатехника, потом девушку, потом меня. В правом кармане у меня лежал завернутый в тряпку партбилет. Но человек, обыскивая, правой рукой залезает к вам в левый карман, и когда он залез и стал шарить в левом кармане, я в это время расстегнул кацавейку, и он стал искать уже в пиджаке, а в правый карман так и не полез и не нашел партбилета.

- И они вас не расстреляли?
- Нет.
- А почему они вас не расстреляли?

Я пожал плечами.

- Не знаете?

Он внимательно поглядел в мое лицо. Я молчал.

- За вас ответило ваше молчание.

Я ничего не сказал.

- И вы хотите, чтобы я поверил вашей байке?

— Я говорю правду.

Он прицельно глядел в мои глаза, и я долго, и невыносимо, и бесконечно отвечал ему взглядом на взгляд, отражаясь в светлых зрачках. Наконец он устал или что-то решил про себя, и ему уже не надо было докапываться до чего-то там в моих глазах. И он стал перелистывать лежащие на столе серые, с фиолетовой машинописью страницы, будто там что-то было про меня.

— Какое задание получили?

— Они нас отпустили.

— Шифр, явка, связь? — быстро сказал он. — И не запирайтесь, лучше будет.

Я молчал.

— Как ушли из плена?

— Я не был в плену.

— Это мы уже слышали. Какое задание получили?

— Я вам сказал — я не был в плену.

— Мы все равно про вас тут все знаем.

— Знайте что хотите, но я говорю правду.

— Вот тут все равно все известно, — он перелистал страницы, лежащие перед ним.

— Так зачем же вы спрашиваете?

— Закон, — сказал он, — юриспруденция. — Од подвинул ко мне чистый лист бумаги, чернильницу. — Напишите объяснение, подробно.

Я написал все, как было, как мы стояли на окраине села, как мы пошли по улице, как нас задержали, и обыскивали, и отпустили. Пока я писал, он молчал, потом он прочитал с отвращением и пошел куда-то с бумагой.

Я сидел и смотрел в окно. Какой-то боец верхом подъехал к крыльцу. Он соскочил с коня и пошел в дом. Конь стоял у окна и смотрел в комнату на меня. Глаза у коня были грустные и замученные. Казалось, он понимает все, что происходит, он с сожалением беспомощно смотрел на меня. И мне стало себя жалко.

Перейдя у Дарницы Днепр, я миновал Сулу, и шел, и дошел до Ворсклы, но в Полтаве уже были немцы, тогда я повернул на Богодухов, к Харькову, но в дороге узнал, что Харьков оставлен, и пошел на Изюм, на Купянск, я сам себе сказал: «Дойду до Сальских степей, до Караганды, до границ Афганистана, но с ними не останусь».

Батальонный долго не возвращался, к крыльцу подъехал еще один верховой, быстро соскочил и взбежал на крыльцо. Через минуту из дверей стали выбегать майор, потом капитан, несколько бойцов с пачками бумаг и бутылками чернил, подъехала повозка, и на нее погрузили пишущую машинку и венские стулья.

А моего батальонного все не было.

По улице проскочил, не останавливаясь, камуфлированный броневичок, и на его броне лежали два автоматчика.

Стало совсем тихо. В доме ни шороха. Я почувствовал: что-то не то. Я встал и вышел в боковую дверь, куда батальонный ушел с моими бумагами. Там никого не было, валялись обрывки газет, сено. Дверь на заднее крыльцо была раскрыта. На огороде стояли чучела.

Я вернулся, взял свой партбилет и вышел на крыльцо, и пошел по дороге, среди брошенных повозок, беспризорных лошадей с седлами и без седел. Крестьяне-старички уводили коней в свои дворы.

Внутри было чувство щемящей грусти.

— На мышей не жалуетесь?

У дверей стояла женщина с крохотной красной мышеловкой, такой крохотной, что в нее бы ловить жуков.

— Мыша есть? Ловим, травим.

И она мне тоже показалась подосланной старухой. Я глядел на миниатюрную, какую-то трагедийную мышеловку и чувствовал себя в капкане.

Эта комната всегда казалась мне западней, куда меня загнали и откуда уже нет выхода. Но каждый раз после собраний я уползал в эту ненавистную с масляными стенами узкую комнату, в эту чадную нору, набитую прусаками и клопами. Все-таки это была единственная нора во всем городе, а может, сейчас и во всем мире, где я оставался один, один на один с самим собой, со своей гложущей тоской, с удивлением к дикости и бессмыслице того, что делали со мною, и с болью. И тут как-то отлеживался.

Предчувствие того, что должно случиться и чего нельзя предотвратить, было всегда, иногда оно как-то погасало, таяло, словно забывалось в карусели жизни, но на самом деле оно не исчезало никогда, оно только дремало, и снова наступал день и час, и оно овладевало тобой с новой силой, и снова ты ждал и ловил каждый взгляд и оглядывался на улице, заходил за угол и ждал, кто пройдет за тобой. И когда садился в такси, привычно глядел в заднее стекло, нет ли хвоста, и когда приходил в кафе или в ресторан и садился за столик и вдруг ловил на себе взгляд или замечал слушающее ухо, старался вспомнить, был ли тот уже здесь, когда ты пришел, или появился после тебя. Да, иногда это угасало, тихо таяло, но чтобы совсем исчезло, этого не было ни разу, оно жило, слегка покрытое пеплом, где-то в самой глубине, в тебе. Это был — ты.

Все время как-то беспокожно, отчего-то тревожно, чувствуешь вину без вины виноватого и ждешь наказания. Наказание неминуемо. Рано или поздно оно придет. Каждое утро — только отсрочка.

А теперь это случилось. Теперь уже не надо было, да и не было охоты волноваться, все потускнело и исчезло перед этим огромным.

Уже не было сил бояться, не было сил для страха, не было сил терпеть боль, стало все равно. Пусть все идет как идет, а мне все равно, по крайней мере уже не надо бояться.

Он стоял тут под окном, ходил на ходулях, заглядывал в окно, и некуда было деться, некуда спрятаться.

Глава пятая

Я взглянул в зеркало, и лицо показалось мне чужим, отдаленным, из какой-то другой жизни. Может быть, всегда так бывает, когда долго глядишь на свое лицо, оно кажется чужим. Вот этот нос, эти брови, эти глаза, эти уши, это — ты? Это ты и есть? Который вечно разговаривает сам с собой, кричащий в себе, думающий в себе, каждый день, каждое утро все перелопачивающий в себе, заново продумывающий свою жизнь, строящий новые планы и варианты, и все остроумничающий в себе, все протестующий в себе. Сколько их, не произнесенных речей, парирования, не услышанных никогда криков возмущения и боли и тайных мыслей, никем не узанных и похороненных, забытых навсегда!

Уговариваешь сам себя, жалеешь себя и мучаешься наедине с собой и все ждешь, и ждешь, и ждешь чего-то, все терпишь в этой надежде. В конце концов все стерпел. Ты и не заметил, как изменилось твое лицо, прозевал все изменения, привык к ним, примирился, и все тебе кажется, что ты тот же, что ты это ты.

Неужели это я, тот, который гонял обруч по крутой Верхней улице: «Даешь Варшаву, берешь Берлин!», бежал с расхристанными книгами по длинной Гетманской улице в Пятую единую трудовую школу, тот, который сидел под зеленой лампой и

осторожно переводил переводные картинки, там в старом, веселом и грустном доме на Златопольской улице.

Я и есть тот самый мальчик, который шел в пыльных, крикливых, безумных рядах и, поднимая дымящий керосиновый факел, орал: «Долой, долой монархов, раввинов и попов!» — и которому все было нипочем, трын-трава, пропади пропадом: «Мы старый мир разрушим, мы новый мир построим».

С наслаждением простаивал дни в шумных прокуренных очередях у бурых, заплеванных стен Киево-Печерской биржи труда подростков, страстно мечтая стать слесарем-лекальщиком.

И это я приехал с Брянского вокзала и на подножке звенящего, дребезжащего трамвая по Бородинскому мосту, узким тесным коридором Арбата, через толкучку Охотного ряда выехал на Театральную, к белокаменному Большому театру, и вдруг мне показалось, что я уже тут был, что я, собственно говоря, всегда тут жил, все так было знакомо.

Потом это я, утопая, шел через болото Трубеж под немецкими мертвыми люстрами, и это я стоял перед собранием, а собрание выло.

Все это я. Я гляжу в зеркало и вечно узнаю и не узнаю себя. Сколько же жизней у человека, одна или тысяча, и тот маленький, кроткий мальчик в матроске, и тот юноша в галифе и сапогах кажутся совсем чужими, посторонними. Они бегут, дергаются, кричат, машут руками, словно участвуют в старом-старом фильме.

Охотный ряд со своими лабазами, с висящими на крюках красными мясными тушами, индейками и гусями в перьях и блинным чадом, книжные развалы у Китайгородской стены до дома Наркомтяжпрома на Ногина.

Звон переполненных трамваев, сирены красных пожарных автомобилей, цоканье пролетов, бестолковые крики пирожниц, мороженщиков, квасников, визг мальчишек с ирисками на лотках — от всего этого кружилась голова. И все время смятенное и тревожное ожидание нового, еще никогда не бывалого.

Москва была вся в траншеях. Кислый запах разрытой земли, неоцинкованных, ржавых, холодных на вид труб — все это я вдыхал с жадностью.

Я подолгу стоял у обшитых свежим желтым тесом вышек, странно и чуждо выросших посреди города, во дворах и на площадях, с жаждой, с завистью, с радостью наблюдал парней и девчат в широкополых шляпах, брезентовых робах и измазанных глиной резиновых сапогах, оттуда, из-под земли, поднимавшихся на свет улицы, что-то таинственное, важное делавших там, под землей, а теперь вышедших на свет и гордо, независимо, не сливаясь с обыкновенной толпой и чувствуя себя рыцарями без страха и упрека, идущих по солнечной улице, непохожих на других.

Я тоже хотел работать под землей, в смутном свете оплетенных проволокой лампочек; тоже хотел лежать на спине и, держа над головой отбойный молоток, врубаться в землю, в камень, в глину, идти через пльвуны и выходить наружу в широкополой шляпе, в робе, в измазанных глиной мокрых резиновых сапогах.

Сверкала, шумела, звенела трамвайным звоном узкая, поднимающаяся в гору вечерняя Тверская, и ярко, ново, волшебным сиянием неоновые трубки, полные светящегося газа, хлопали двери празднично освещенных ресторанов, парикмахерских, магазинов, кричали газетчики: «Вечерняя, Вечерняя...» Тучей валила возбужденная толпа.

Захваченный этим шумом, ярким движением, глубоко вдыхал я насыщенный электричеством воздух многолюдной улицы, с перебегающими, переливающимися оранжевыми и зелеными буквами, и, казалось, громче, резче в вечерних сумерках звенели трамваи, сигналили машины и плыли освещенные над городом облака.

Ах, боже мой! Вокруг празднично-ликующе, свежо и ярко сверкала, переливалась огнями Москва, светилась тысячами тысяч окон, уютных, трогательных. А я хотел

в тундру, в Каракумы, на Северный полюс, чтобы мне было трудно, невыносимо трудно, на что потребовались бы все мои силы, вся моя неутолимая жажда жизни.

Сверху от Страстной по Тверской улице шла с факелами вечерняя демонстрация. Это был день МЮДа. Тогда еще не было того железного порядка демонстраций, когда Красная площадь на осадном положении и в центре вводится комендантский час; колонна с красными флагами шла свободно, лилась, как река, по улицам, и к ней можно было присоединиться и идти в рядах под плакатом «Долой Чемберлена!», и выйти на Красную площадь, к самой трибуне Мавзолея, и слушать речи.

Впереди шли рабочие ребята, фабзайцы с «АМО» и «Серпа и молота» в раскрытых косоворотках и кепках, рабочие-подростки тридцатых годов, те, что пойдут на рабфаки, те, что встали у красного знамени в самые юные, чувствительные и бескорыстные годы.

Я пошел за ними, и я стоял у Мавзолея, освещенный огнями факелов, и слушал речи. И когда кончились речи и погасли факелы, над Красной площадью взмошел узенький серп стрелецкой луны, я остался один. Была уже ночь.

Я вышел на Большой Каменный мост. Миллионы освещенных окон были вокруг — вблизи и вдали — словно звездное небо опустилось на город. Под мостом глухо шумела темная вода, и я слышал стук своего сердца.

И жажда учиться, и жажда работать под землей, и уехать на край света раздирали меня, и я не знал, куда податься.

Словно сквозь ватную стену услышал я звонок телефона.

— Это я, Аркадий, закричали в трубку. — Ну как, дышишь?

Я ничего не ответил.

— Понятно, — сказал он. Мы оба помолчали.

— Есть новости?

Я снова ничего не ответил.

— Понятно, — повторил он. Мы еще немного помолчали.

— Хорошие или плохие? — осторожно спросил он.

Я молчал.

— Понятно, — сказал он.

Электрическая тишина линии давила на нас тысячетонной силой. В трубке, казалось, дышал кто-то третий будто жевал бутерброд с осетровой спинкой.

Ну, адыю, — сказал он и повесил трубку Я услышал короткие гудки. Я слушал, и слушал, и плакал.

Казалось, вся тоска, испытанная в жизни, собралась в этой тоске и весь ужас в этом ужасе, безнадежность дней и ночей в этой беспредельной, уже невыносимой и нестерпимой безнадежности.

И вдруг мне захотелось молиться, нет, не Богу которого я не знал и не помнил и который никогда не являлся ни во сне, ни наяву, над которым с детства смеялся, а тому высшему, всевидящему, всепрощающему, той правде любви, которая должна же быть на свете, помолиться страстно, бешено, плача, рыдая.

Зачем же надо было гореть, спешить, дрожать от восторга верить, любить, чтобы в какой-то дикий неприютный и беспросветный, в этот холодный сиротский день загнало тебя в этот каменный мешок.

Был дождь. На Сокольническом кругу под рогожами и мешками, сторбившись сидели на высоких козлах извозчики.

Один из них лихо натягивает вожжи, выпрямляется, и тогда падает рогожа, и выплывает мрачная фигура:

— Прокатим, гражданин подросточек...

По деревянным мосткам со стуком проходили одинокие прохожие. У водопроводных колонок гремела ведрами очередь. У забегаловок зажглись желтые фонари. Пробежал мальчик с книгами, перевязанными бечевкой, ученик третьей смены, и, оглядываясь, долго следил за извозчиком. Где он теперь, этот мальчик из третьей смены?

Теперь тот дождь кажется туманной сеткой времени, сквозь которую видится вечер, смутные фонари, освещенные окна домов, где сидят семьи за вечерним столом и откуда никто никуда не уезжает.

Как бы издалека доносится грохот колес по булыжнику, крики газетчиков, оглушительные сигналы редких машин и длинный жалостный рассказ извозчика в огромном, надвинутом на глаза картузе о коллективизации в деревне.

Выехали на большую широкую улицу. Ярко сквозь дождь горели витрины торговина с желтыми манекенами в шляпах набекрень, провожавшими нас своими восковыми лицами. Цокали извозчики, звенели и дребезжали переполненные трамваи, тучей под зонтиками шли пешеходы, и над всем этим плыл пар, красноватый вечерний туман, и слышен был распространившийся гул — колокольный звон церковей, и гудки новых серебряных репродукторов, и духовая музыка, все, что так радостно и гулко отзывается в молодом сердце, вызывает ответное чувство удесятеренной радости и жажды. А я уезжал.

Поезд отошел от Ярославского вокзала.

Под мостом прошли освещенные трамваи, огни стали реже и какие-то тусклые, окраинные, заброшенные, а потом и они исчезли, и осталось вдали лишь освещенное небо.

В глубине темных полей — то бегущие к поезду, то убегающие от него огоньки деревень. И кажется, что зажглись они ради тебя, и трудно себе представить, что будут гореть и без тебя, просто сами по себе и ради себя, веселые и печальные огоньки деревень.

С грохотом пронесся встречный маршрут, и с этим грохотом как бы отрывается от сердца все, что было, и постепенно переносишься в новую жизнь.

Была осенняя, промозглая, пропащая мгла. Летели навстречу темные поля, перелески, дальние желтые, как одуванчики, огни провинции, и, похоже было, я уезжал назад, к своему детству.

Болотные замерзшие кочки, жалкие грустные кочки, прогалины, те же бревенчатые мокрые черные деревушки, избы с низкими окошками, в которые глядел еще протопоп Аввакум, и те же названия: Нижняя Палома, Нея, Свеча... Вот так корова стояла здесь и тысячу лет назад и о том же мычала.

Какое им всем дело, этим черным избушкам, этим людям у черных глиняных горшков с деревянной ложкой, до твоих фантазий? Видишь — тот же удивленный, с большими рачьими глазами человек, не понимающий, чего ты хочешь и зачем ты здесь, глядит на тебя в окно. Он знай хлебает своей деревянной ложкой и хлебает...

И поднималось сильное, горячее чувство — осветить эти избы с черными от дождя соломенными крышами, эти темные, будто упавшие с неба в болото, забытые всем миром селения, превратить их в города, привести этих людей в зипунах, в лаптях к новой жизни...

Мой стоял теперь не у ворот, а у края тротуара и глядел на новый многоэтажный дом на противоположной стороне улицы, на его большие окна и балконы. Думал ли он, кто там живет, или ему просто нравился этот новый дом, эти богатые балконы, эти роскошные, кружевные башенки украшений, и он знал, что там живут генералы и министры, и с уважением думал о них, и даже в мыслях не завидовал и не воображал получить комнату в таком доме. Насмотревшись на это новое чудо и насладившись высшей жизнью, он перевел взгляд на наши окна.

Знал ли он, где мое окно, муторно ли было ему ждать, и терпеть, и маяться тут, у ворот, в скуке ожидания. И любил ли он свое назначение, дорожил ли им и считал себя выше, значительнее всех других людей на том основании, что он следит за ними, а не они за ним? Или, может, ему обрыдла уже его власть, и он только и думал перейти на другую, тихую, не нахальную работу, где не надо мерзнуть на ветру, в неизвестности, в ожидании нагоняя от грубого начальства.

Вдруг он повернул голову вправо и плюнул три раза, привычка у него была такая, или он что-то задумал про себя. Странно, этим он стал как-то ближе, совсем свой.

Еще сегодня утром я его не знал и он обо мне ничего не ведал, теперь не было для меня во всем мире более важного человека, чем он.

Вся моя жизнь, все, что я мог еще сделать, увидеть, испить, вся моя любовь, паника, страх, болезни, восторги, открытия были в его власти.

Я вспомнил еще одну дорогу.

Ночная дикая грязь, гром и молнии, казалось, война со всеми ее катюшами поднялась в небо, и там идет артподготовка. Аэродром с редко стоящими самолетами был пустынен, и слышно было, как ревут потоки воды по бетонным полосам.

Всю эту ночь и весь следующий день лил дождь, и небо было наглухо и, казалось, навеки сплошь задраено тучами. Ни один самолет не поднялся. Все аппараты стояли на поле. И кто спал, кто играл в кости, кто писал последнее письмо, а кто просто лежал и предавался воспоминаниям, и казалось, не будет никакого полета, никакой опасности. И вдруг во второй половине дня как-то незаметно, тихо дождь прекратился, небо посветлело, посерело.

Тучи еще висели над аэродромом, над ангаром и службами и над поселком, но там, на западе, открылось небо, чистое, синее, и солнце огромное, красное закатывалось за горизонт. И это ясное небо казалось твоей жизнью, которая могла бы быть, если бы не было этого полета.

Но нельзя сказать: нет, не хочу, смотрите, разве вы не видите, какое синее, обещающее небо, какой розовый, радостный закат, какой может быть жизнь. Я хочу жить.

Сонное заблудившееся царство аэродромной службы проснулось, ожило, замельтешило.

На длинных взлетных полосах загудели моторы, прямо по полю неслась заправочная цистерна.

Перед самым отлетом техник из аэродромного склада боезапасов выдал мне ППШ, новенький, еще в смазке с одним круглым, как у ППД, диском, и еще несколько черных рогуллек и патроны, которые ссыпал в зеленый холщовый мешочек. Техник помог мне зарядить диск, я вытер смазку паклей, вставил диск в автомат и тут же, у ангара, проверил бой. Машина работала исправно.

— Как бог, — сказал техник.

Я повесил автомат на грудь и пошел к самолету.

У «Дугласа» стояла небольшая толпа, все были в брезентовых дождевых плащах с зелеными рюкзаками, некоторые держали в руках какие-то желтые деревянные ящички вроде адских машин.

Техник-лейтенант стал выдавать парашюты, прикрепил их каждому на спину и объяснил, как дергать кольцо. Парашют, как тяжелый рюкзак, лег на мою спину. Горбясь, все стали в очередь к трапу.

У трапа стоял офицер со списком и у каждого, входящего в «Дуглас», спрашивал фамилию, проверяя по списку. Все фамилии были польские. Я понял, что это были диверсанты в Польшу. Я в очереди был последним, и офицер, спросив фамилию, принял меня тоже за поляка и ободряюще сказал:

— На родину?

В самолете было темно и холодно, и одуряюще пахло бензином. Я пробрался между зелеными патронными ящиками, ворохом связанной одежды — ватников, шинелей, сапог — и сел на зеленую железную скамью. У турельного пулемета стоял стрелок в синем авиационном комбинезоне и заправлял в пулемет ленту.

Из кабины вышел высокий летчик и спросил:

— Все?

Кто-то снаружи от люка сказал:

— В порядке.

Мы улетали за Минск, а фронт был у Орла, только вчера взяли Орел.

Летели над темной землей без единого огонька, города и села, и железные дороги, как Атлантида, утонули на дне океана. Стрелок стоял у турельного пулемета, следил за небом, и казалось, он призван сбивать звезды. Только подлетая к фронту, увидели первые огни, линия фронта двигалась по земле зигзагообразно огненной пиллой. Нас заметили, и оранжевые трассы расцвели вокруг, и в самолете стало светло...

И тут вдруг меня окатило потом. Пистолет! Я не сдал его тогда, сразу в мае 1945 года, в сверкающем, ликующем мае, когда все было можно, все было позволено и, казалось, вечно, всегда все будет можно и все будет позволено.

И шли и дни, и месяцы, я вспоминал и забывал, а может быть, жалко было его сдавать. А потом уже было поздно, уже вокруг была стена. Уже никак нельзя было прийти и сказать: «Вот!» — и протянуть пистолет. То же самое, что протянуть бомбу с догорающим фитилем и сказать: «Пожалуйста!» И шли дни и месяцы, а потом и годы, теперь только можно было его разобрать на части и выкинуть. А куда выкинуть? В мусорный ящик на задний двор? За случайный забор? Самое подходящее место — колодец, но на сто верст кругом не было колодца. И вот — доигрался! Я достал бельевую корзину и стал выкидывать книги, газеты, старые носки, тряпье, мотки проволоки, на дне лежала сморщенная кобура. «ТТ» показался очень тяжелым, от него пахло кожей, старым лежалым железом, ужасной угрозой.

И в это время тройной стук в дверь и голос:

— Милиция.

И будто упали стены, и стоял я голый перед всем светом. И даже не успел подумать, как же это все быстро узнали, в ту же минуту, в ту же секунду уже оказались на пороге.

Как шар, загнанный в лузу, забитый намертво колом, стоял я в углу, не шелокнувшись.

Стук повторился.

Я накрыл пистолет газетой и, словно лунатик по краю крыши, двинулся к двери, и не своей, как бы замерзшей чужой рукой снял крючок.

На пороге стоял милицейский капитан в новой фуражке и щегольской синей шинели, как-то особенно выглаженный, особенно аккуратный, какой-то даже опереточный, словно из кинокартины студии Юношеских и детских фильмов, и в комнате запахло «Ландышем», а за ним гражданский тип в мальчиковой кепочке на макушке, в мальчиковых ботинках.

— Здравствуйте, — капитан улыбнулся, и от этой улыбки еще шире волнами распространился в комнате запах «Ландыша», а тот, что был за ним, как только вошли, выдвинулся, вынырнул из-за широкой, мощной спины капитана, из-за пижонского торса, в мальчиковой пестрой кепчонке, незначительный такой, вредненький, и сделал странное круговое вращение головой, словно сразу вобрал в себя комнату со всеми ее углами, а потом поглядел на меня и вобрал и меня с головы до ног, со всеми потрохами и недозволенными мыслями и ужасающими интеллигентскими сомнениями.

— Проверка документов, — сказал капитан, — паспорт, пожалуйста.

Я пошел к пиджаку, висящему на стуле, и достал паспорт. Все было как во сне.

Капитан аккуратно перелистал паспорт и заглянул на какую-то интересующую его страницу. Но она была чистая и непорочная.

Кепочка небрежно оглядывала потолок.

— А кто тут еще живет? — сказал капитан, не выпуская паспорт из рук.

— Я один.

— А кто еще прописав? — спросила кепочка.

— Он же говорит, что один, — сказал капитан. Кепочка небрежно оглядывала стены, и вдруг взгляд его задержался на столе с горбившейся на нем газетой «Известия» и таившимся под ней ТТ. И казалось, от одного этого взгляда ТТ сейчас даст спуск, начнет стрелять в стены, в живот, в ноги, куда попало, пока не разрядит всю обойму. Я осторожно повел за взглядом и понял, что он, не отрываясь, глядит не на газету, а на крохотный, только недавно по комиссионному случаю приобретенный немецкий приемничек «Харнифон», ловивший весь мир на длинных, средних и коротких волнах.

— Трофейный? — спросила мальчиковая кепочка.

— Немецкий.

— И на всю катушку берет?

Я смолчал. Может быть, из-за приемничка, из-за этого чудо-«Харнифона» они явились, хотя я и пользовался им осторожно, сугубо под вой радиоточки, передававшей «Запрягите, хлопцы, коней», приблизивши к шкале ухо, пытаюсь сквозь троекратную забиваловку и сквозь вой, трескотню и пиликанье, зверское бормотание на всех языках, сквозь веселящий газ, джазовое безумие мира, и снова, поверх, покрываемые троекратной забиваловкой, выловить информацию, ту раздражающую и все-таки ловимую русскую далекую речь, которая сразу по тону, по тембру, по вибрированию, по придыханию отличалась от однообразного, дистиллированного голоса наших дикторов. Может, это ночное пиликанье, этот шорох и достиг ушей Свизляка, и он написал куда следует, а куда следует, он знал.

— Игрушка зарегистрирована? — спросила кепочка.

— Еще не успел, я ведь только вчера приобрел.

— Вчера? — удивилась кепочка и покачала головой.

— Надо закон исполнять, — сказал капитан и усмехнулся, прямо одурманивая «Ландышем».

— Правильно, правильно, — согласился я.

— Законы для этого и пишутся, чтобы их граждане исполняли, не вольничали, — все так же улыбаясь, сообщил капитан. — Ну, извините за беспокойство.

Он взял под козырек, и кепочка тоже неожиданно приложила два пальца к виску, и они вышли в коридорчик, я услышал стук в соседнюю дверь.

— Милиция.

Почему они явились именно сейчас, это случайно, или они связаны с тем, который ждет меня на улице? Что они хотели проверить, дома ли я? Все шито белыми нитками, нельзя же так грубо работать. А может быть, это действительно случайно, может быть, это совпадение? И я усложняю. Но почему именно сейчас? Почему такое роковое совпадение? Или мне это так везет? Нет, это, наверно, случайно, ведь они вошли в другие комнаты, они и там громко спрашивали документы, но как-то лениво, нехотя, каким-то нарочным голосом.

Я смотрю на телефон, мне кажется, кто-то в нем поселился и смотрит на меня, и слушает мои мысли.

Звонок, еще и еще, и еще, и еще. Комната как бы вся наполнилась звоном, звенели чашки, и звенела электрическая лампочка, еще и еще... Кто-то там упорный и упрямый, настырный, еще и еще, и еще...

Я поднял трубку.

— Да-а-а!

Никто не ответил. Я прислушался. Гудело пространство.

Проверяют, дома ли я. Но куда я могу деться? Что, просочиться сквозь стену, растаять в воздухе, прыгнуть с крыши на крышу или убить себя?

Я выглянул в окно. *Мой* стоял у ворот и курил. Выкурив папиросу, он бросил ее щелчком в урну и пошел к краю тротуара, переждал поток машин и, когда последняя прошла, шагнул на мостовую и стал спокойно переходить улицу. На той стороне он опять стал на краю тротуара и стал смотреть на наш дом, на окна, на какой-то миг наши глаза будто встретились, он утер рукавом нос, потом подтянул штаны, повернулся и спокойно пошел к телефонной будке.

В будке медленно набрал номер, обождал, пока ему ответят, и потом что-то долго, спокойно и серьезно говорил. Выкладывал ли он начальству свои наблюдения, умозаключения или, может, тете рассказывал о своих детях, какие отметки получили, он что-то послушал и повесил трубку. Потом он немного постоял в будке, не предпринимая никаких действий, затем набрал еще какой-то номер и на этот раз, заговорив, сразу же стал смеяться и все время, пока разговаривал, смеялся. Рассказывали ли они друг другу анекдоты, или вспоминали что-то свое, очень веселое, или просто трепались, а может, он рассказывал обо мне, и это было так забавно, что его разбирал смех. Но вот он, отсмеявшись, повесил трубку и вышел из будки. Он вынул пачку папиросу, закурил на ветру, с горящей папиросой перешел улицу на эту сторону, и снова пошел к воротам, и терпеливо и безразлично глядел на прохожих, а они на него не глядели.

Садовая грохотала и содрогалась от движения машин, и в живом потоке то и дело проносился засыпанный снегом грузовичок с черным крепом на кумаче по борту. Он пролетал с серебряным глазированным гробом и неживыми цветами венков, а вокруг на стульчиках, расставленных, как в зале заседаний, сидели скорбящие, глазели на окружающее, разговаривали и смеялись. И сразу же впритык, без границы жизни и смерти, автоцистерна — «Живая рыба».

Что-то именно сегодня столько похорон, или это каждый день, или сегодня я особенно чувствителен к ним? Здесь, по Садовой, через Смоленскую проходит великий московский похоронный путь к Зубовской, а там правый поворот на Пироговку, мимо особняков, мимо медицинских корпусов к краснокирпичным стенам Новодевичьего, в тупик.

Грузовичок с черным крепом на борту весь день мелькает в общем потоке, и уже кажется, это одни и те же похороны кружатся, кружатся по городу в этот темный, желтый день.

* * *

Поздно зимой поднимается солнце из-за Соколиной горы, и встаешь еще в темноте, и алые дымы медленно плывут к замерзшему, застывшему изумрудному небу с утренними бесцветными звездами, и идешь по окаменевшей тропе от соцгорода к заводу, и далеко слышен скрип шагов.

Нет ни улицы, ни дороги, лишь одинокие, странно разбросанные в снежном поле краснокирпичные дома.

Я перехожу по тонкому шатающемуся мостику через темную, угольную, парящую на морозе Абушку на Нижнюю Колонию.

Я уже привык и к этой длинной, в разъезженных колеях, несуразной улице темных, низких, длинных барачков с мокрыми серыми рубероидными крышами, скорее лагерной, чем городской или поселковой, к их казарменному запаху хлорки, гремящему на веревках белья, синим угарным дымам печурок.

Я иду мимо длинного темного барака — бани, откуда, свистя, вырывается пар и голые выбегают из парной и ныряют в сугроб, угарно тянет золой и березовыми вениками.

Потом желтый, аккуратный барак госбанка с массивными решетками на окнах, на крыльце вахтер в тулупе и валенках, с винтовкой и фонарем «летучая мышь». На высоких двухколесных драндулетах по двое подъезжают инкассаторы в брезентовых плащах поверх полушубков, с пистолетами на ремне, и пока один, соскочив, стоит у драндулета, другой вытаскивает из-под сиденья брезентовые мешки с деньгами.

Потом столовая, с неизменным красным винегретом в буфете, пшеничными битками и гнущимися оловянными ложками, на которых отштамповано: «Украдено на фабрике-кухне имени Бабея».

И дальше школа в крашенном известкой бараке. Дети в пальтишках и полушубочках сидят в длинных, узких, холодных классах с самодельными черными партами, окна занесены снегом, и электричество горит с самого утра. Учитель стоит у доски в ушанке и в перчатках.

В тесной каморке почты было накурено, кисло пахло кожухами, мокрыми ватными халатами казахов, штемпельной краской, горячим сургучом. За перегородкой беспрерывно стрекотал аппарат Морзе.

Я получил небольшую, мягкую, суровыми нитками зашитую в холст посылочку. Она была какая-то домашняя, уютная. Я взглянул на обратный адрес, и больно защемило сердце от этого знакомого старательного почерка фиолетовым карандашом.

Я нес эту нежную домашнюю посылочку мимо желтых котлованов, гор красного кирпича.

— Кореш, — окликали меня, — от папы-мамы?

Рядом тянулись грабарки с замерзшей, клочковатой глиной, шли пегие, бурые костлявые клячи. Грохотали бетономешалки, и в тумане по желобам лился теплый раствор, пахнувший парным молоком. Жужжали деррики, пронося на длинных стрелах по воздуху стальные фермы. Со всех сторон вспыхивали синие молнии автогена.

Я шел с мягкой домашней посылочкой. Что бы это могло быть? Прихожу в барак. Разрезаю нитки, разворачиваю мой старенький, в рубчик, цвета маренго, с паточкой сзади, костюм, который, уезжая, оставил там. Как странно пахнет прошлой жизнью, нашим шкафом, маминым клетчатый платком и почему-то шалфеем.

Я равнодушно вдыхаю запах посылочки. Ну, к чему мне сейчас этот в рубчик, маренго, костюм с паточкой сзади?

Я смотрю в низкое, хмурое, заплаканное окошко из зеленого стекла, на темную, пустынную улицу, на дождь, на грязь, невеселое, низкое, серое небо. Неужели там, дома, сейчас в нашем саду шумит дождь, и знакомые люди проходят по улице под зонтиками, в глубоких галошах, и входят в дом, и говорят: «Здравствуйте, как живете?»

И как-то странно, что я здесь, и эта деревянная клетушка с треногим, залитым чернилами столом — мой кабинет. И слышно, что делается во всем бараке, как стрекочет машинка и кто-то диктует и рубит: «Абзац, абзац, абзац!», и в прихожей сдают объявление, и технический секретарь бубнит, подсчитывая слова.

Темное небо время от времени освещалось багровым сполохом, таинственным светом...

Теперь остался только этот желтый сумрак, гудение улицы, дребезжание стекол. Господи, как же это все-таки случилось, что загнало тебя в эту камеру и от всего света, от всех, кого ты любил и кто тебя любил, в последний срок остался только этот Свизляк, верблюд, и еще Голубев-Монаткин с головой дыни, и эта адская курчавая семья, и дворник Овидий с бельмом на глазу.

Глава шестая

Я лежал на кровати, и упорно казалось, что все это не со мной, а с кем-то другим. Я опять отделился от самого себя и стоял где-то в стороне и наблюдал за тем, кто был я, как он лежит на кровати, в этой комнате, сотрясающейся от гула и грохота движения, и ждет, ждет, что за ним придут, и даже когда того заберут и поведут, я, тот, который наблюдаю, буду цел и буду только следить за тем, которого повели.

И все время казалось, что кто-то подслушивает у дверей. Я встал, тихо подошел к двери, осторожно снял крючок и со всей силой бешено ударил в дверь. Она раскрылась и хлопнула, как выстрел, но в коридоре никого не было. Я снова лег на кровать, и снова казалось, что кто-то подслушивает.

Я чувствовал, как текло, проходило, двигалось само время, словно заработал будильник, отсчитывая секунды, или это стучало сердце.

Я услышал потерянное время, те тысячи дней, тысячи, тысячи часов и минут, которые текли, сыпались, как песок в песочных часах, медленно, но неумолимо, беспрерывно, и продолжают сыпаться, и придет день, и все пересыплется до последней песчинки.

Я лежал на чужом матраце, из которого еще при жизни старого владельца вылезли со всех сторон пружины, и думал о своей жизни и о том, как неудачно все сложилось именно у меня, а может, это так со всеми, но только каждый думает, что это только с ним.

И все ищешь ошибки в жизни, где и когда именно ты сам допустил ошибку. Делаешь расчет, как бы все могло сложиться, если бы вот тогда-то и тогда-то поступил бы иначе и поехал не туда, куда поехал, а совсем в другое место, если бы в самом начале жизни на твоём пути встретился человек, который все знает, и в самом начале пути научил тебя закалке и читать лучшие книги, и дорожить временем, и не терять на чепуху, на безделье, на бедлам ни минуты, и ценить то, что действительно ценно, этот мифический, небывалый, добрый и великий человек, учитель, который на самом деле никогда и никому в жизни еще не попадался, и каждый доходил до всего сам, и делал все ошибки, и к концу понимал, что профорсил или промотал жизнь.

А может, на самом деле ты совсем не виноват, и как бы ты сам ни распорядился, все равно лежал бы вот так, уткнувшись в подушку и безвольно думая о своей жизни, когда вся жизнь кажется цепью сплошных ошибок, и неудач, и несуразностей, и унижений.

Зазвонил телефон.

— Здравствуй, малыш, какие у тебя планы на вечер?

— Не знаю, — сказал я.

— А кто знает? — спросила она.

— Во всяком случае, не я.

— Дорогой мой, я вижу, вы не в настроении, примите какое-нибудь лекарство, отдохните, я вам через два часа позвоню.

И частые гудки отбоя.

Теперь я стал думать о девушках, которые у меня были.

Душный, черный вечер, какие только бывают на Апшероне, и была кривая, узкая, как ручеек, раскаленная дневным солнцем, иссушенная нордом азиатская улочка, тупик, который никуда не вел, и он так и назывался Глухой переулок.

Окно этой узкой, каменной, темной комнаты было настежь открыто, но это все равно, что оно было открыто в накаленную печь, в которой пекли чурек.

И на той стороне глухого переулка окно тоже было открыто и одуряюще пахло жареным луком и сладкими вафлями. И совсем рядом, как в зеркале, мелькали бесстыжие тени в длинных рубахах, и тайная жизнь дома словно была выворочена наизнанку.

Она была низкого росточка, веселая, румяная, пышная. Мы с ней только днем познакомились в чашлом скверике на парапете. Она была замужем. Я был грустный, прыщавый юнец, в расхристанном апаше и галифе, заправленных в брезентовые сапоги. Вдруг она подняла руки, и обняла меня за шею, и поцеловала сладкими, липкими губами, и почти неслышным шепотом, почти одним дыханием, сказала наяву слово: «Хочешь?» — как осколочная бомба, контузившее меня.

И острое, глубокое, всеобъемлющее, почти болезненное, почти обморочное содрогание, и это было бесконечно и навсегда.

И подушки лежали на полу, и простыни были влажные от пота, и никелированная чужая ветхая семейная кровать скрипела и визжала, и чужое зеркало мутно отражало две тени.

И это было только начало, самое раннее начало тех мук, и радостей, и опустошающей печали...

Я потерял ощущение времени. Зимний день тянулся бесконечно. Я засыпал, и мне что-то снилось, может, я стонал во сне, я, наверно, стонал, потому что каждый раз, просыпаясь, как бы слышал оттуда, из той неведомой потерянной страны, что-то вроде эха только раздавшегося стога. И за окном было серо, зимне, я прислушивался и вспоминал, где я...

...Сквозь грохот улицы, дребезжание стекол, привычные знакомые шумы квартиры, гудение водопроводных труб, хлопанье дверей я вдруг уловил шаги, скрипящие, осторожные, шаги в маленьком коридорчике в направлении комнаты. Значит, вот как это бывает — тихо, просто, грубо, и нег спасения.

Я не слышал, как они открыли дверь. Они появились в комнате неслышно и неожиданно, из стены.

Я лежу на постели, а они стоят надо мной: сухие, поджарые, почему-то в зеленых пограничных фуражках, и я говорю им не голосом, не звуком, а мыслью говорю: «Так вот как это бывает». А они молчат, они ждут... Один из них вежливо взглянул на меня и усмехнулся.

Я уже понимаю, что это сон. И, как бывает в повторяющемся сне, который давно и долго мучает тебя, молишь, чтобы это на самом деле был сон, и на этот раз сон, и все кончилось бы благополучно. И тут, в тот час же я узнал, что это снова игра сна.

Я перехожу из круга в круг.

Я приезжаю на извозчике на вокзал, знакомый старый желто-кирпичный вокзал — «первый класс», «второй класс» и черная багажная касса, и почему-то временно он новый, современный, из бетона и стекла с цветными витражами. И пахнет в нем уютно, самоваром, дубовыми скамьями, грузовыми дубликатами, детством, и тут же деловая, в лозунгах наглядной агитации комната партбюро, и там почему-то

сидит школьный товарищ, по-детски круглолицый, но в ополченской темно-серой гимнастерке с узким пояском и серых обмотках. А я в длинной, до пят, юношеской кавалерийской шинели, и мы оба идем рядом, рассуждаем о теории отражения и ищем извозчика.

А потом я стоял у стола президиума, покрытого красным кумачом, с зеленоватым графином воды, и меня прорабатывали. Помещение было знакомое. Высокая, обшитая деревянными панелями зала, с галереями и резными потолочными балками. И тот горбатенький, с красными глазами кролика, все время кукарекающим голосом задавал один и тот же вопрос: «А сигналы были?»

Я вижу новый, светлый дом с большими окнами и заколоченной еще со времен погрома парадной дверью, перевезенный в иные края, куда-то на берег южного моря, и живут в нем отец и мать, одни, на чужой улице, на незнакомом, чужом берегу. Давнишний, милый, родной, до конца дней моих родной дом, с теми же памятными комнатами — вот комната с красно-бордовыми стенами, и голубая детская с лилиями на стенах, и светлая, желтая столовая, и веранда, и гулкая новая лестница на чердак, и каменная холодная лестница в погреб. Только дом вдруг стал как-то меньше, будто ушел наполовину в землю, старенький, глиняный, облупившийся, с оголенной дранкой.

Глаза того, который пришел, проступили сквозь туман, сквозь мглу сна, бесконечно чуждые, твердые, спокойные, стальные, внимательные. И лицо его, острое, как нож, безжалостное, не понимающее, что такое снисхождение.

И тогда тот, кто был я, сказал, может быть, не словами, а мыслью: вы можете изнурить мою душу страхом, чувством вины, не понятой и не осознанной из-за каждого сказанного и даже не сказанного слова, поступка, мысли, взгляда. Этого вы, наверно, добились, и вы это знаете, и учитываете, но превратить меня в подлизу, в подлеца нет у вас сил, и вы это тоже знаете и учитываете.

И в это время я увидел его глазами самого себя, жалкого, сонного, беспомощного, на матрасе с выскочившей пружинной, на нечистой, замусоленной наволочке. Так вот как это бывает, опять подумал я, и в то же время хрипло и глухо спросил: «В чем дело?» — и проснулся.

И, как всегда после дневного сна, некоторое время я лежал ошеломленный, невесомый, не чувствуя времени, не понимая и не ощущая, где я, кто я, что я, и какой это город, и какой год, будто только родился, будто лежал распростертый, распятый, будто поднялся из гроба.

Лишь постепенно сквозь ошеломленность и невесомость приходило чувство реальности и тяжести бытия, и впереди, как ветерок, бежало ощущение случившегося несчастья, только ощущение, намек, пока наконец земное притяжение не навалилось на меня душьем. И я сразу вспомнил все.

Первое, что я услышал после оглушения сном и забытьем, было радио. Оно привычно бубнило там у себя за стеной знакомым, перегорелым, безучастным голосом. И не хотелось, и незачем было вслушиваться в слова, те же, что и вчера, и позавчера, и в прошлом году, ничего не значащие, слова-вата, слова-пустышки, слова — горох об стену.

Постепенно начинало казаться, что произносит их и не человек. В голосе не было ни интонации, ни характера говорящего. Казалось, что это кукует раз и навсегда заведенная черная тарелка репродуктора, все равно, слушают ее или не слушают, и никогда она не замолчит, и так будет всегда, всю жизнь. И казалось, если даже все умрут, она будет все так же ровно, спокойно, чисто и невозмутимо вещать, и недоумение и бессилие медленно овладевали мною.

И тут вдруг я понял ясно то, что уже давно подспудно чувствовал, ощущал, душевно знал. Не надо было начинать все это тогда, давно, еще в мальчишеские юные

годы, не надо было входить в этот круговорот, ввинчиваться в эту воронку, в эту пусто-мельную мельницу, сидеть на собраниях и обмирать от страха, иссушать нервы страхом и непонятой виной, а надо было с самого начала заниматься только своим делом, с самого начала читать, читать и читать, и наблюдать, наблюдать, и работать, только это и делать, читать, наблюдать и работать, и жить всю, жить той ежеминутной, ежесекундной жизнью, которую я презирал, третировал, легкомысленно пропускал, надеясь все на будущее, на завтра и послезавтра, оставляя все на потом, и опомнился, когда уже не было этого потом, когда тот, кто дал эту единственную жизнь, уже разверз уста, чтобы сказать: «Пардон, хана!»

Припоминая подробности только приснившегося сна, я не то что подумал, а скорее ощутил: а не есть ли вся жизнь сон, своеобразный вид сна? Ведь все, что было, что, казалось, было, и тот, как бы из другой жизни, дом, с широкими, светлыми, ярко промытыми окнами, и сад с тихими, заросшими подорожником тропинками, и школа там, на Замковой улице, двор, заросший мягкой травой, просторный для игры, и учителя, имена которых вдруг так ясно всплыли, будто черным отпечатались на стене: Дмитрий Семенович — учитель истории, которого звали Свечкой, и Аделаида Степановна — учительница ручного труда, с громадным, как сак, ридикюлем, по кличке Танк. Бывало, когда на уроке очень шумели и не хотели ее слушать, она раскрывала свой ридикюль, вытаскивала клубок шерсти и длинные, сверкающие вязальные спицы и предоставляла классу делать все, что он хочет. И мальчики, сидя верхом на партах, свистели в карандаши, гребенки, надували резиновые «уйди-уйди», вскакивали на парты, изображая рыцарей, трубочистов, черта, Наполеона, все, что им вздумается, а Аделаида Степановна проворно вязала капор, ничего не слыша и не видя. Ведь ничего, ничего от всего этого не осталось. Нельзя даже доказать, что это было. Чем же все это отличается от сна? Такое же хрупкое, недолговечное, призрачное, такое не ускользающее, умершее. И может, этот серый, тусклый, больной день и этот, в жалкой котиковой шапке у ворот, — тот же сон, и это все пройдет, не оставив после себя ни пепла.

Ах, если бы те, которые так в жизни суетятся, так волнуются и, отталкивая всех, ступая по живым и мертвым, пропихиваются вперед, если бы они только на одну минуту представили себе эту, ими так ценимую, так яростно лично любимую жизнь как призрачный сон, может быть, они бы задумались? Может быть, и они стали бы тише, кротче, не так бы толкались, не пихали бы других, не прыгали бы на ходу в вагон или хотя бы перестали царапаться.

Все чаще и чаще жизнь странно казалась сном. Вдруг чувствую, уже был этот день, тот же зимний свет и дальние в снежной глуши голоса, и в какой-то отстраненности прошедшая вся жизнь кажется волшебными картинками, зыбкими и несуществующими. И, может, еще раз эти картинки покажут, когда уже никого не будет в живых это помнящих, даже память о них развеется в звездную пыль, в другое миллионлетие, или, может быть, даже на другой планете, будет точно такой же, как ты, мальчик, с таким же лицом и характером, все повторится, те же радости, и обиды, и ошибки, и пороки, и угрызения совести, и все это на самом деле будет только отражением где-то, может быть, существующего, вечного и непреходящего, мелькающая тень, не стоящая волнений и переживаний.

В дверь постучались, а может быть, даже и не постучались, может быть, это мне только показалось, нет, кто-то тихо, робко скребется в дверь.

— Кто там? — вскрикнул я.

— Открой, ну что тебе, жалко, — заскулили за дверью.

В коридорчике стоял и улыбался худющий, почти плоский, словно вырезанный из фанеры подросток в полосатой пижаме и черных нитяных перчатках. Это был со-

сед Паша, перчатки он носил, чтобы не приставали бактерии, и никогда, даже во сне, их не снимал.

Вся квартира считала Пашу малахольным. Никто не знал его мальчиком, не видел, как он пулял из рогатки по воробьям или пинал футбольный мяч, целясь в окна, как в ворота, не видел учеником, бегающим с портфелем в школу. Паша переехал сюда таким же длинноногим подростком, со своей вечной, непонятной малахольной полуулыбкой на устах, то ли он смеялся над вами или, наоборот, над самим собой, а может, над всем светом в целом. Весь день Паша в пижаме и черных нитяных перчатках читал старые книги в кожаных переплетах, у него был целый сундук таких книг, или сам с собой играл в шахматы, вслух комментируя ходы обеих сторон:

«А вот я хлопну ладью!» «Не торопитесь, она вот куда пойдет, каково теперь вашему ферзю», — и хихикал, а ночью приходил и говорил: «Подвинься, я накормлю мышей». И я стоял босиком, пока он отодвигал кровать и каким-то особым, тихим, ласковым свистом вызывал мышей, и после я уже не мог уснуть и слушал, как питались мыши, они шуршали, как черви в шелковичных листьях.

— Скажи, пожалуйста, есть у тебя промокашка? — спросил Паша.

— Нет у меня промокашки.

— Ну, тогда дай мне четыре наперстка хлеба.

Он малахольно взглянул на меня.

— Нет? Ну, тогда одолжи до вечера электрическую лампочку. — Он странно улыбнулся.

И вдруг мне показалось, что он знает такое, о чем никто, кроме него, и не догадывается. И мне стало жутко оставаться наедине с его полуулыбкой-полутримасой.

— Иди, иди, Паша, ничего у меня нет.

— Ну, тогда дай звякну.

Не снимая черной перчатки, он осторожно, и внимательно, и чудовищно медленно, словно ему не только надо было вспомнить цифру, но и сложить ее с предыдущей и последующей в одну сумму и что-то из нее еще вычесть, набирал номер, и когда ответили, сказал:

— Это я, гы-ы...

Значит, в этом огромном миллионном городе была одна душа, которая интересовалась Пашей, кому-то же он посылал свой импульс, кто-то же слушал его «гы-ы».

— Как цивилизация? — спросил Паша, и лицо его сделалось сосредоточенным и внимательным.

Что-то там ответили, Паша слушал, а потом сказал:

— Деградация населения города Москвы, ну, лады! Гы-ы... — И положил трубку.

Айсоры влетели без стука, с криком «Извиняюсь!» и сразу кинулись к телефону, словно вызывать «скорую помощь». Но, прикоснувшись к телефону, как символу цивилизации и высокого мира, сразу успокоились и серьезно сказали:

— Надо!

И, набрав номер, вырывая друг у друга трубку, запустили пулеметную ленту из невообразимого хаоса непонятных халдейских слов, похожих на осколки, на ошметки некогда жившего, разрушенного и погибшего, похороненного под пылью веков языка, и из этого потока все время вырывалось: «участковый», «шашнадцать».

Я оглох от их крика и возбуждения. И когда они ушли, мне показалось: я перенес приступ истерии.

Глава седьмая

Затухающий свет зимнего дня медленно, как сквозь сито, цедился в заляпанное грязью проезжавших машин, да к тому же еще промерзшее окно.

Мой не отходил от ворот. Он вынул из кармана какие-то бумажки, были ли то почтовые квитанции, или, может, какие-то случайные телефоны, или бумажки, в которые завернуты были бутерброды, или купленный по дороге казнак. Он бумажки это просмотрел, некоторые разорвал, некоторые скомкал, и пошел, и бросил в урну, а одну бумажку аккуратно сложил, спрятал во внутренний карман и застегнул на пуговку. Наконец он вывернул желтую подкладку кармана, вытрусил и снова привел в порядок, и какое-то время мирно стоял, поглядывая на наши окна, и даже пару раз зевнул.

Я продолжал его наблюдать.

Вот он повернул руку, посмотрел на часы, приложил часы к уху, послушал и медленно стал заводить, обнаруживая спокойный, несуетливый характер. Я даже издали мог посчитать, что он прокрутил тринадцать раз. Закончив завод, он снова послушал часы и на некоторое время успокоился.

Неожиданно он отклеился от ворот, оглянулся и быстрым, энергичным шагом дошел до угла и таким же быстрым шагом вернулся к воротам, и снова до угла, и назад, и опять неподвижно стал у ворот, слился с грубым суриком. Была ли это физкультминутка, или почему-то надо было ему выяснить обстановку и обследовать окрестности, или просто затекли ноги, замерз, бедолага, в своем фальшивом, негреющем котике у чужих ворот.

Теперь он очень внимательно смотрел на свои боты. Сначала он изучал правую боту, а потом левую, потом поставил их рядом и окинул общим взглядом. Может, неудобно, неуютно, тесно в новых казенных ботах? Ведь там, в том хозотделе или магазине, где он их получал, не особенно придирчиво примеривают. Или, может, он натер ногу, или ему вдруг просто захотелось пошевелить пальцами, и вот он в это время как раз исполняет ритуал, это действие наслаждения, и прислушивается к нему, и получает спокойное удовольствие.

Вот он снял перчатки и подул на пальцы, и затем, заложив руки в рукава, согрел их собственным телом, и так стоял долго, не шевелясь, весь уйдя в свое тепло.

Я выглянул на черную лестницу. Было тихо, холодно, накурено.

На средней площадке стояли два подростка в кепочках-бескозырках, пытели сигаретками и молчали.

— Сколько сейчас, три? — спросил один.

— Три, — ответил второй.

— У, твою мать, — откликнулся первый.

И опять была тишина.

Я снова лег на кровать. И все видел наяву.

Как позвонят длинным-предлинным звонком, и как все спят, один я не сплю и знаю, что это за мной. Звонки повторяются, а я медлю, не пойду, ни за что не пойду. И уже непрерывный звонок, словно у дверей остановился трамвай и его не пускают, и тогда хлопанье дверей по всему коридору, шарканье, шлепанье ночных туфель, шепот, потом звон цепочки, открываются входные двери, и я, кажется, слышу ветер с лестницы, и чужой громкий, призывающий голос: «Идите к себе в комнату», и потом тишина, тогда я слышу стук собственного сердца, и ясные приближающиеся шаги, и голос Овидия: «Тут!» — и громкий тройной стук в дверь.

Или просто заберут с улицы, вдруг, посреди солнечного дня, в праздник, подъедут вплитык к тротуару, и из машины приветственным голосом окликнут по имени и отчеству и по-приятельски пригласят сесть для разговора, и увезут туда, где со звоном раскрываются железные ворота. Или заберут из театра, во время антракта. И так бывало. Подойдут вдруг, возьмут под локоток, по-приятельски, с улыбкой, и поведут для выяснения некоторых обстоятельств в дирекцию, и через час «Спящая красавица» кажется сказкой, виденной в далеком детстве. Или снимут с поезда, это они особенно любили, гордились своей выдумкой. Казалось, можно было взять на вокзале, когда шел по перрону. Еще в Москве. Нет, дадут сесть в поезд, уложить вещи в сетку, проехать несколько станций, спокойно выпить проводницкий чай с железнодорожными каменными сухарями, лечь в казенную, холодную, накрахмаленную постель, вздремнуть под ход поезда и в середине ночи вдруг постучат ключом в дверь: «Откройте, контроль». А контроль, вот он, выглядывает из-за спины проводника в фуражке с синими кантами, войдет в купе: «Паспорт, фамилия, имя, одевайтесь». А поезд уже замедляет ход, и на глухой, темной, неизвестной станции, с одиноким фонарем, освещающим золоченую статую Сталина в вокзальном сквере, поведут куда-то вдаль под дождем на запасные пути.

Зачем это им нужно было, именно так? Но раз делают, зачем-то им нужно. Не для шика.

Ведь все ты это уже хорошо знал. Сколько раз слышал в разных вариантах. И это было сначала со старшими, которые вводили тебя в жизнь, учили тебя работать, защищали, когда нападали на тебя на собраниях, а потом рекомендовали в партию, выступали за тебя на чистке, сначала это было с ними, а потом и с твоими сверстниками, с которыми ты сидел на одной парте, с которыми ходил на стрельбище в летнем лагере территориальных войск, с которыми выпивали на вечеринках. И ты все это уже видел своими глазами. Но на этот раз это с тобой, с тобой, в единственной твоей жизни, у тебя другой не будет.

В сущности, если подумать, чувство страха было главным, преобладающим во всей твоей жизни. Его было гораздо больше, чем всего остального, вместе взятого, — гнева, печали, радости, — чувство страха и тоски — вот что определило твою жизнь, окрасило ее в свой серый цвет.

Каждый делал вид, что лично его это не касается. И не только на людях, а наедине с собой, даже ночью, когда просыпался и думал о своей жизни, и о жизни других, и вообще о жизни. Так было легче и проще отогнать от себя страшные мысли, заморозить, забить свою совесть, отогнать, оттолкнуть неминуемое от себя, притворившись, искренне веря, что это тебя не касается. За что? И действительно, не было за что. Но какое это имело значение? Никакого не имело. Никому это еще не помогало. Так до поры до времени, обманывая самих себя, жили в мираже, в зеркальном отражении.

Все еще не ты. И значит, еще пропасть, как от жизни до смерти.

Поезд остановился в открытом поле, и оно показалось чужим и каким-то растерянным. Не было ни знакомого желто-кирпичного вокзала моего детства с залами первого и второго класса и большим колоколом, ни круглой водокачки, ни длинных темных пакгаузов, ни даже перрона. Все было разрушено войной. И стояла только на запасных, ржавых, заросших травой путях красная теплушка, над которой торчал одинокий флагшток.

Теперь на этом вокзале никого не встречали, и не было даже ни одного извозчика, пассажиры прямо из вагонов темной толпой хлынули через пути и поспешно, будто боялись остаться на разоренном вокзале, разбежались во все стороны, и стало пусто и одиноко, лишь ветер шумел в станционных тополях. И я долго стоял и слу-

шал их, внимал их шуму, и, казалось, они узнали меня и рассказывают обо всем, что видели и слышали.

И лежали длинные, пустые, беззвучные улицы, так же вился хмель по заборам и плетням, так же цвели подсолнухи и глядели из палисадников анютины глазки. И казалось, не было во всем этом жизни, или это я уже тут был чужой.

В центре города вырос бурьян, и радио орало над пустырями. Весь город шел по разоренным улицам с тяпками на пригородные огороды.

Гостиница была какой-то взъерошенной, неупорядоченной, с запахом солдатского постоя, бензина, железа. В номерах стояли койки, застеленные серыми грубыми одеялами и подушками без наволочек, но с большими комендантскими печатями. И директор, и завхоз, и слесарь — все были в кирзовых сапогах и военных гимнастерках.

Я пошел по городу. В церкви была школа юных спортсменов.

В булочных не было хлеба.

На базаре продавали жевательную резинку, Евангелия, испанские сигареты «Монте-Карло» и польские «Грюнвальд».

Я узнал только одного человека, который продавал самодельные свистульки, все остальные были чужие.

Некогда просторная, знойная, пыльная площадь Свободы, площадь манифестаций, теперь заросшая кустарником и молодыми деревьями, полна была непонятого, сидящего на траве разношерстного люда.

Сначала я подумал, что тут допризывный пункт и все эти пожилые женщины и старики провожают молодых солдат. Но какой-то угнетенный, сдержанный, тоскливый гул стоял над этой расположившейся на площади странной, темной толпой. Может быть, это были заключенные, но к ним почти свободно проходили из-за ограды, передавали узелки, переговаривались. Вербованные? Но зачем, при чем тут вооруженная охрана?

И вот сразу одновременно в разных местах, на разные голоса повелительно, грозно, просяще:

— Становись!

Люди нехотя, лениво поднимались, скапливались как-то по-семейному, самовольно, разгильдяйски в странную колонну, вольную и не вольную.

— Живо! Шевелись!

Тот, кто поднимался с земли и становился в колонну, и тот, кто поднимал их, в порыжелых пилотках с винтовками, были на одно лицо, так похожи друг на друга, что казались из одной семьи.

— Тунеядцы, не хотели работать.

— А сколько им давали на трудовень?

— Палочку, и все.

Это было так нарочно, нелепо и нежизненно, что скорее было похоже на киносъемку дурного фильма.

Когда площадь Свободы опустела и остались на ней клочки газет, какие-то жалкие тряпки, мешковина, чей-то брошенный ватник, я прошел к серому, одинокому камню братской могилы, где старая надпись «Геройски павшим от руки бандитов в 1920 году за святое дело коммунизма» была замазана, и на проступавших старых словах была нанесена свежая, более спокойная и, казалось, более подходившая к новому моменту: «Имя ваше сохранится в истории Великой пролетарской революции».

Густая колонна, затопившая старую Киевскую улицу, медленно передвигалась, серая, арестованная, а по сторонам, прижимаясь к стенам домов, и сзади, и спереди, отгоняемые конвойными, шли родственники: жена, если муж был в колонне, и муж, если жена была там, сын или дочь, если отец или мать были в той колонне, или мать и отец, если сын или дочь уходили колонной.

И все это перекликалось, переговаривалось, гудело о своих делах и заботах, посылало приветы, жалело о разлуке, сообщало новости и кричало последние слова. И на все это глядели из окон, из подворотен, домов и учреждений. Сопровождавшие то перегоняли колонну, чтобы посмотреть в лицо идущим и что-то крикнуть им, или отставали и плелись сзади, и тогда тот, кто был в колонне, оглядывался, тут ли они еще. Кто-то неожиданно забегал прямо в колонну, что-то передавал, что-то быстро говорил, целовался и под крик конвойного выбегал на тротуар.

Колонна медленно, тяжело двигалась по улице, мимо разрушенных домов, мимо пепелищ, поваленных, заросших бурьяном заборов.

Ветер гнал шуршащий, вянувший цвет акаций, ветер сбивал у пепелищ в серые, грязные, ватные кучи некогда пышные, роскошные молодые цветы, соперничающие со звездами. И душа моя настраивалась на этот лад, и было тоскливо, и казалось, все кончено в этом мире навсегда, с этим и всеми грядущими поколениями.

Долго я шел за этой нестройной, разношерстной колонной, спотыкаясь о булыжники, мимо школы, в которой учился, мимо типографии, где состоял в пионеротряде, мимо знакомых крылечек, мимо пустыря, на котором играл в лапту и чехарду, по Курсовому полю, мимо кладбища, на котором лежали похороненные дед и бабушка, и вышел на железную дорогу, где на запасных товарных путях ждал длинный состав из красных теплушек, и конвойные стали загонять людей в вагоны. И когда исчез последний, я повернулся и пошел по Курсовому полю, мимо кладбища, длинной прямой улицей, по которой некогда шли в красных галстуках на первомайскую демонстрацию и пели: «Ай да, ребята, ай да, комсомольцы. Bravo, bravo, bravo, молодцы».

Я пошел назад, и какая-то девица в платке все забегала вперед, заглядывая мне в лицо, потом отставала, а когда я останавливался и смотрел на знакомые домики, на косые окошки, иногда вытаскивая блокнот и записывая впечатления, то и она останавливалась и тоже смотрела на эти домики, а потом на меня, отдельно на блокнот, и как-то нервничала. Я уже хотел спросить ее, не узнала ли она меня, но вдруг она исчезла.

— Гражданин, на одну минуту, — сказал сзади голос. Старший лейтенант и знакомая мне уже девица подошли ко мне.

— Он? — спросил старший лейтенант.

Девица взглянула на меня своими странными пронзительными сливовыми глазами.

Порошкова, посмотрите внимательно, — сказал лейтенант.

У нее были глаза отравленной кошки.

— Он, гражданин начальник. Точно.

— Посмотрите хорошо, Порошкова, не ошибитесь.

На моих глазах разыгрывался самодеятельный спектакль. Эта неведомая мне Порошкова играла роль наседки. Она снова посмотрела на меня своими паническими глазами.

— Его я видела на базаре, его, — взвизгнула она.

— На каком базаре, в чем дело, ничего не понимаю — сказал я.

— Вчера, на ярмарке, а? — и она неожиданно подмигнула мне.

В своем светлом чешском пыльнике и шляпе я вдруг почувствовал себя чужаком, шпионом, лазутчиком на этой пыльной, тихой, заброшенной улице, у трех тополей, под которыми я играл в «принца и нищего» где еще кажется, сохранился след моих босых ног.

— Так вот это мой дом, — сказал я.

— Вы тут живете?

— Жил.

— Когда жили?

- Давно.
- Документы.
- А в чем дело, что случилось?
- Что надо, то и случилось, — сказала Порошкова.

А лейтенантик был молдой, серолицый, с тревожными, безответственными глазами.

— Документы, документы, — проговорил он не желая ничего слушать и объяснять.

— Что, у меня вид подозрительный? — спросил я.

Он и на это не ответил, продолжая изучать меня своими бдительными глазками.

Я подал ему свою командировку.

— Разверните, — сказал он, как будто боясь занять свои руки разворачиванием бумажек.

Я смотрю на молоденького лейтенанта, странное ощущение чуждости, враждебности приобретают эта гимнастерка и знакомые, родные тебе погоны, когда проверяют твои документы. А может быть, оттого, что вдруг это делают на мирной улице, несправедливо, не в положенном месте, не на КПП, а вот так, под солнцем дня, среди шумящей зелени июня, у родного крылечка, на порог которого я еще вползал на четвереньках, где столько раз плакал и кричал, где целовала меня мать и ремнем бил отец, где прочитал первую книгу и развернул первую газету.

Лейтенантик долго читал удостоверение, прочитал, взглянул на меня, как будто сверяя содержание бумаги с впечатлением от моего лица, потом еще два раза перечитал удостоверение, сложил его, но не отдал, а спрятал его в верхний карман своей гимнастерки и сказал:

— А блокнот где?

Я показал блокнот.

— Пройдемте.

Отравленные глаза Порошковой вдруг зацвели детской радостью.

— Куда пройдемте? — спросил я.

— Куда надо, туда и пройдемте, — сказала Порошкова.

— Порошкова, замолчите! — прикрикнул лейтенант. Он обождал, пока я пройду вперед.

— Простите, товарищ, проверочка, — уже спокойно сказал он.

Прохожие останавливались и смотрели на нас.

За дверью кто-то шушукался. Потом хихикнули. Через некоторое время постучались. Все сегодня было как-то таинственно и странно, или это так всегда, и я только не замечал.

Я тихо подошел и приоткрыл дверь. Там стояли девочка и мальчик в пионерских галстуках поверх шубенок, у них были панические лица.

— Дядя, у вас есть пузырьки? — звонко спросил мальчик.

— А зачем вам пузырьки?

— Мы соревнуемся, — гордо сказал мальчик.

— И еще газеты старые, книги ненужные, бумага, — зашептала девочка.

— Мы собираем утильсырье, — сообщил мальчик.

У обоих были испуганные и гордые лица.

Я вынес им большую кипу газет и журналов. Когда они сходили по лестнице, они смеялись.

— У, — сказала девочка, — теперь мы выйдем на первое место.

— Бенц Фраерману! — выкрикнул мальчик.

А у Монаткиных разгорался скандал.

— Кто ты есть? — кричала жена.

— Архив нечего поднимать, надо смотреть вперед, — отвечал Голубев-Монаткин.

— Куда вперед? Тебе шестьдесят лет, впереди — могила.

— Я из-за тебя остановился в своем развитии, — упрекал Голубев-Монаткин.

— Не маскируй своего хама. Я вот больна, у меня грипп.

Голубев-Монаткин захохотал:

— Грипп от мировоззрения, вирус врачи выдумали.

— Я за свою жизнь твою структуру трепача изучила, — грустно проговорила жена.

— Я с семнадцати лет Советскую власть завоевывал, вы еще не достойны меня.

Голубев-Монаткин хлопнул дверью и вышел в коридор.

Я сказал: «Здравствуйте», — он на меня взглянул, пожевал губами и, усмехнувшись, не проронив ни одного слова, ушел своей крепенькой походкой, стуча по железным ступеням подковками белых буроков, высоко неся свое строгое суровое лицо, понимающее свой партийный стаж и заслуги.

А жена на кухне говорила:

— Этот человек и был человеком, пока имел пост и ездил на машине. А когда лишился машины — перестал быть человеком. Сидит под фикусом, вспоминает гражданскую войну и все свои посты, а мне говорит — работай. А сам спит под газеткой.

Издали ярко освещенный изнутри мартен — словно воздушный замок, с тонкими пламенеющими трубами.

И когда по железной, гудящей от шагов и ветра лесенке поднимаешься туда, на бетонную эстакаду, и через открытый, под звездным небом, скрапной двор с его печальным ржавым запахом железного лома, холодным, пропадающим и необратимым запахом коррозии самого времени, все превращающего в прах, выходишь в огромные, пылающие светом дворцовые пролеты мартена, охватывает сила жизни и надежды.

Люблю эту огненную бесконечность, эту вдаль уходящую анфиладу печей, в круглых окошках которых бушует и льется голубое, зеленое и оранжевое пламя. Люблю яркий и быстрый трепет все сменяющихся, переливающихся огней, игру света и тени, запах скрапа, кислородных баллонов, сухой, чистый запах шамота и динаса, горький запах магнезита, терпкий медный привкус молибдена и ванадия.

С трамвайным звоном ходит завалочная машина, грохоча, подходят цепные составы мутьб с железным скрапом, и тогда могучая, неотвратимая рука завалочной машины мертвой железной хваткой берет мутьду и, повернув, несет к открытой печи, откуда пышет белое, жадное, голодное пламя, и безжалостно сует в бушующий огонь, и стоят толчки землетрясения, печь взрывается бенгальским огнем, а сталевар спокойно с пульта управления просит: «Еще одну мутьдочку».

Свистит паровоз, требуя дорогу, и вдруг бьет тревожно колокол, мостовой кран опускает с потолка свой хобот, поднимает огнедышащий ковш и осторожно, трепетно, почти с человеческой мудростью нагибает и терпеливо льет жидкий, в звездах, чугун в кипящую ванну печи.

Окинутый молниеносным светом сталевар длинной синей ложкой из сиреневого дыма достает голубое жидкое пламя...

А поздним вечером, в тот час, когда кончались собрания, всякие слеты, кружки и семинары, когда, наконец, гасли окна в редакции и в бараках, у крылечек тихо наигрывала гармонь, по закаменевшим, замерзшим колеям я пробирался за колючую

провода в медгородок и в свете тусклых больничных фонарей, в холодном тамбуре барака, где устойчиво пахло дезинфекцией, жадно и поспешно целовался с медсестрой, выбежавшей в полушубке на белом халате, и, кажется, на губах и на одежде после этого оставался приторный запах лекарств.

Или вместе ходили в клуб имени Эйхе — длинный барак с фальшивыми колоннами. И когда однажды ночью, после вечера «Дня ударника», он загорелся, то в один час сгорел с декорациями «Города ветров» Киршона, мольбертами изокружка, и в головешках нашли только огнем искореженные и оплавленные трубы духового оркестра пожарной команды.

Я устал.

Я теперь готов был ко всему, готов был принять все без удивления, без ропота, разве только с одной болью и страхом, а может быть, не будет ни боли, ни страха.

Опять в грохот улицы, в сигналы, скрежет вплелся похоронный марш, прозвучал и исчез со скоростью звука.

Казалось, что больше никогда ничего не будет, вот все и кончится в этой мертвой, в этой сумеречной, желтой зимней мгле, когда стены глухо передают дальний, тошнотворный кухонный крик-перебранку и нагретый воздух застыл, окаменел.

Я тронул батарею парового отопления и тотчас же почувствовал духоту невыносимую.

Я влез на стол и открыл форточку. Я уверен был, что он знает мое окно и сейчас увидит, что я открываю форточку. Да черт с ним. В комнату ворвался ледяной ветер со снегом, и я вдыхал жадно, неутолимо. И постепенно мне как-то становилось легче, спокойнее, словно я пил силу, отчаяние. Черт с ним, черт с ним, черт с ним...

Я как-то осмелел, все показалось не таким мрачным, безнадежным и конченным.

И в это время резко, дико, как-то взвизгивающе зазвонил телефон. В жизни я не слышал такого тревожного, требовательного звонка.

— С вами сейчас будут разговаривать, — дотянулся откуда-то издали жалобный женский голос. И вслед за этим вдруг отбой, частые-частые гудки.

Теперь я стал раздумывать и мучиться, кто же это был, секретарша или телефонистка. Зачем, кому я нужен был? Кому понадобился, кто вспомнил обо мне в этот дикий, смутный день и час моей жизни? Или, может быть, в каких-то списках, где я еще состоял, против моей фамилии не было галочки? Надо было срочно поставить галочку. И снова я обмирал от страха и неизвестности. Пронзительно зазвенел телефон.

— Не отходите от трубочки, сейчас с вами будут разговаривать.

И вслед за этим далекий, милый голос Кати, она говорила из-за города.

— Это ты мне звонила несколько минут назад? — жадно спросил я. — Ты, да?

Я сразу как-то успокоился, сразу как-то включился в мир, где есть люди, есть сестры, братья, любимые, где столько голосов, шепотов, интонаций, где есть вопросы и ответы, достоинство, терпимость, уважение. Все это еще есть? Еще есть?

— Ты что, спал? — спросила она.

— Нет.

— А почему у тебя голос такой странный? Ты болен?

— Нет, не болен.

— Я голоса твоего не узнаю, это ты?

— Я, я.

— Ну, что такое с тобой, что стряслось?

Я молчал.

— Что ты молчишь? Что случилось?

Я как бы все время чувствовал в телефоне третьего человека, казалось, разбираю его дыхание, его внимание.

- Нет, ничего не случилось.
- Не нравится мне твое настроение. Я сейчас к тебе приеду.
- Не надо.
- Нет, я приеду.
- Я прошу тебя.
- Но мне нужно к тебе приехать, — сказала она.
- А в чем дело?

Теперь она молчала, и я спрашивал.

- Что случилось?
- Этот разговор не для телефона.
- У тебя что-то случилось? Да?

В ответ — ку-ку, ку-ку, ку-ку... И непонятно было, это она повесила трубку, или разъединил тот, третий, и стало еще тревожнее.

В последние дни какой-то снегирь, серенький, скромный, с бурой грудкой, повадился залетать в открытую форточку моей комнаты, и то сядет на вешалку в глубине комнаты, то на этажерку с книгами. Вдруг услышу трепет крыльев, и немо, удивленно снегирек глядит на меня, словно хочет что-то сказать, а я боюсь шевельнуться, напугать, чтобы не заметался, не разбился о каменные своды, только тихонько, дружески свистну, и он тут же вылетит в форточку и пропадет. А на следующий день опять трепет крыльев, живая дрожь, и снова глядит на меня удивленно-грустно и хочет что-то сказать. И так настойчиво, ежедневно прилетал, что стало думаться, что это душа давно умершего, некогда любившего меня навещает меня, хочет о чем-то предупредить, но сегодня почему-то снегирька не было, и не было, и не было. И это тоже казалось плохим предзнаменованием.

* * *

Сначала я исчезну из домовой книги. Сам домоуправ, не доверяя девице-делопроизводителю или старику-бухгалтеру, молча перечеркнет меня крест-накрест и, усмехнувшись, забудет. Нет, не выбыл, не переехал на другую квартиру, в другой город и даже не умер, просто никогда не был, случайно затесался в домовую книгу.

А потом быстро, лихорадочно, таясь, вычеркнут из всех списков, где состоял и против фамилии: аккуратно ставились галочки: членские взносы, нагрузка, собрания, семинар; где получал выговоры с занесением и без занесения в личное дело. Исчезнет и само личное дело.

И только, может, еще в библиотеке долго будет пылиться абонементная карточка, а потом и она исчезнет, навсегда забудут, исчезнут сведения, какие книги любил и читал, чем в жизни интересовался — неоромантизмом или неореализмом, а может, и соцреализмом. Еще некоторое время будут по адресу приходить письма, открытки и, может, даже и переводы, но, словно обжигаясь, беря кончиками пальцев, отнесут в домоуправление, чтобы следовали куда надлежит; а газеты и журналы до конца подписки разойдутся по квартире, и журналы «Огонек» и «Техника молодежи» еще долго будут мелькать в туалете.

Все это я ясно видел и постепенно к этому привыкал. Психика перестраивалась на ходу и не посягала на это.

Придут какие-то чужие, нездешние люди, повесят на двери большую и плоскую сургучную печать, и в запечатанной комнате будет звонить телефон, долго и надсадно звонить, и по ночам вдруг заплачет, заноеет, захрипит, как ангинозный больной, и ответит только запечатанная, необратимая тишина, которая известно что означает и которую все быстро поймут. Может, вдруг накатит длинный, ничего не знающий и не

рассуждающий междугородный звонок, но и он останется без ответа. И постепенно реже и реже будет звонить, пока не затихнет, не оглохнет совсем. Разве прорвется какой-то шальной, быстрый звоночек по ошибке, или старый, еще школьный товарищ или друг по войне, приехавший в Москву в командировку, ничего не ведая, позвонит.

Но скорее всего только повесят сургуч, и сразу же пойдут коллективные заявления перенести аппарат в коридор или на кухню, и можно будет днем и ночью слышать одно и то же: «Он тут больше не живет», «Вам русским языком говорят, таких тут нет». И это тоже известно, что означает, и не надо переводить.

Я видел все так ясно, будто все это уже случилось Я видел жизнь после себя, вторую, третью и десятую серию, которую еще никто не снимал. Однажды утром или в полдень придут представители с портфелями, и с ними домоуправ, и дворник, и понятые, распахнут двери в затхлую комнату и долго и тщательно будут переписывать вещи, выкликая: «Кресло подержанное... матрац подержанный, лампочка электрическая 100 ватт».

И это уже навсегда, необратимо, от этого нельзя отделаться, вылечиться, и из этого не выскочишь тут даже нет надежды на рентген, на облучение, на то что скоро что-то такое откроют, что-то такое сделают, нет никаких упований на знаменитого профессора, на знахаря, на шамана.

Он ждет меня там, под окном, и мне кажется, я вижу тень его на стене. Тренькнул телефон, и я сразу схватил трубку, словно она могла меня спасти, могла помочь выплыть.

— Говорит Алла из парткома, вам известно, что вы агитатор?

— Да, да, я знаю, обязательно, я болен, я сегодня болен, завтра приду, обязательно приду, конечно, Алла, что я, не понимаю?

А день все длился и почему-то не кончался, глядя в окна желтизной вечеряющих облаков. А потом зимние сумерки, как чернила, пролились по небу и ступились во мглу, и воспаленно засветились фары. Улица то заполнялась потоком машин, которые обгоняли друг друга, шли грохочущей железной лавиной, то вдруг сразу, точно обрубали топором, пустела, и тогда становилось так тихо, что слышно было, как на кухне стучат ножами, отбивая котлеты, потом, как приближающийся водопад, железный грохот, и снова улица до краев наполнялась машинами, которые подступали к самым окнам, и всегда среди них была хоть одна похоронная, с черным крепом по бокам.

Глава восьмая

За окном что-то вспыхнуло и вздрогнуло, зеленоватый туман поплыл мимо, будто затяжная немецкая ракета, и в комнате стало светло и мертво.

Зажглись фонари.

Я оделся и вышел на кухню. Теперь она была полна, были тут и те, кто всегда дома, всегда у кастрюль, у корыт, и те, кто только пришел с работы и сразу же стал чистить картошку, разделывать рыбу, лепить котлеты.

Женщины яростно накачивали примусы, так же яростно, словно боролись с духами, регулировала пламя керосинок, и то копоть поднималась к потолку, то сокращалась и умирала в буром огоньке, а кто-то из мужчин самозабвенно возился над прибором, похожим на паровоз Уатта. И стояла та напряженная мелочная тишина, которая от одного слова могла взорваться, как динамит, и перейти в потасовку, в пожар или донос с далеко идущими последствиями.

Я стал закрывать дверь, не оглядываясь, и почувствовал, как все притаились, только шумели примуса и шипели котлеты на сковородках. Казалось, все уже знали, в чем дело, и казалось, пространство вокруг раздалось и оставило меня в заколдованном круге. Не оглядываясь, я вышел, и хлопнул кухонной дверью, и услышал в спину:

— Чтобы по голове тебя так хлопало.

На средней площадке стояли те же два парнишечки, пыхтели сигаретами, отплевывались.

— Пять будет? — спросил один.

— Пять будет, — сказал второй.

— У, твою мать, — откликнулся первый. И опять тишина.

Я спустился по черной железной лестнице, замызганной картофельной шелухой, блевотиной, грязным снегом, и толкнул тяжелую наружную дверь. И сразу же мелькнул черный котик, и, как вспышка, близко, до ослепления, его бледное, замученное беспокойством пухлое лицо, пронзительные глаза и мокрые от снега ресницы.

Мне показалось, что от неожиданности он хотел сказать: «Здрасьте», но передумал, и неловко, как раненый кролик, прыгнул в сторону, в заметался. Мне стало его жалко, хотелось сказать: «Ничего-ничего». Я прошел мимо, не обращая внимания.

Дворовая собака, неизвестно у кого жившая, которую все кормили и все пинали, стояла посреди двора на кривых лапах, и, когда я проходил мимо, подняла голову и взглянула на меня свободным взглядом. «Нет, ты еще ничего не знаешь», — беззвучно сказал я ей. Она побежала за мной, я оглянулся, и что-то, наверно, было в моем взгляде такое, что она остановилась: «Что такое?» — и не пошла дальше.

Интересно, как он узнал, что я именно в этом подъезде, ведь, когда я входил во двор, он торчал на той стороне улицы. Может, уже был в домоуправлении, разузнавал и нашел по словесному портрету.

В полуподвальное окно ремесленного училища было видно, как при электрическом свете играли в пинг-понг и двое с ракетками, как кошки, прыгали вокруг стола, и все это было из другой, забытой, отошедшей от меня жизни, словно из давно виденного фильма. И по экрану этого фильма проплыли вахтер в ушанке, громадная полуразрушенная снежная баба с угольными глазами, женщина, развешивавшая белье на ветру, она поздоровалась со мной и, когда я не ответил, странно взглянула на меня. Из подъезда научно-исследовательского института вышла озабоченная, с портфелями, комиссия, под аркой почтальонша порылась в сумке и дала мне письмо в зеленом официальном конверте, и, не вскрывая, я сунул его в карман.

Я прошел под старыми, грязными, забитыми фанерой, заткнутыми подушками кухонными окнами, по темному стоптанному снегу и, огибая белый снежный скверик с чахлой елкой, вышел не к воротам, а под кирпичную арку во внутренний двор. Тут стоял непонятный, серый, потемневший от снега, дождей и ветров бетонный или гипсовый монумент, уже нельзя было разобрать и черт лица, замысел фантазии скульптора. Говорили — это Орджоникидзе, но иногда казалось, это сам Сталин стоит, заложив руку за борт шинели, а иногда казалось — это просто символ. Монумент выставили с какой-то площади по реконструкции, потому что незачем ему было тут стоять, на заднем дворе, рядом с железными мусорными урнами.

Здоровые рослые бугаи с пробивающимися усиками, в черных форменных фуражках ремесленников, нелепо визжа, и смеясь, и гоняясь друг за другом, играли в какую-то ребячливую игру, напоминая сирот из приюта. И как некогда в давние годы, я позавидовал им, почему я не сирота, не безродный, тогда бы мне было все нипочем и все равно.

Я прошел мимо столовой, из которой, как из бани, вырывались клубы пара с запахом трески и кислых щей. В окна видны были буфет и бочка пива, из которой

насосом качали пивную пену, и высокие толстые кружки, и голые, без скатерти столики, за которыми по шестеро — восьмеро сидели ученики-ремесленники, наворачивая оловянными ложками картофельное пюре или манную кашу и запивая из щербатых стаканов киселем. Я кружил, как во сне, проходными дворами. Появились открытые ворота, и поплыла улица. Я шел, не оглядываясь, и чувствовал, что он идет за мной.

Интересно, что он уже знает про меня? Что наговорили ему и что он должен донести?

Я встал в очередь на троллейбусной остановке. Подошел троллейбус, все сели. Я остался. Троллейбус тронулся, и я пошел дальше, не оглядываясь, и в глаза все лез неоновый лозунг на крыше.

Все люди были как люди, они перебежали улицу, проносились в машинах, и я видел их лица, все куда-то спешили, кто-то их ждал там, в конце пути, а я уже никогда не буду таким.

Я шел и все время чувствовал себя на поводке.

У Гастронома я остановился, что-то поразило меня. В магазин люди забегали странно и суетливо, как в старом немом кино с участием Макса Линдера, и так же дергаясь, молниеносно выбегали оттуда, словно там выдавали что-то несбыточное. Я пригляделся. Над дверью в люльке висел маляр и орудовал кистью, и все старались проскочить мимо.

Я тоже вбежал в переполненный Гастроном, в душную толчею и шум. Кто-то шел сквозь толпу с зеленым шаром на нитке под самым потолком. Люди перли с тяжелыми, полными апельсинов и консервных банок авоськами, напролом, с лицами решительными, пробиваясь к прилавкам.

Я миновал маленькие завихрения, маленькие вулканические кратеры у касс и протиснулся сквозь толпу к розничной продаже водки и папирос, и меня зажало со всех сторон, задушило винным перегаром. На прилавке стояла батарея пустых бутылок, и продавец и покупатель наперебой считали, мешая друг другу, путались, начинали сначала, а из толпы кричали: «Кончай базар!» Котиковой шапки не было видно, так что я немного отдохнул в толпе и стал постепенно выбираться. И когда наконец толпа меня выдавила и я оказался на просторе, я боялся посмотреть в ту сторону, где мраморная колонна, я чувствовал что-то неладное, но я все-таки взглянул туда, и тогда что-то быстрое, ловкое и хищное спряталось за колонну. Я заметил только верх черной шапки.

Тогда и я шмыгнул за колонну и оттуда наблюдал за ним. Он оглянулся и вдруг не обнаружил меня, поглядел в другую сторону и снова не нашел меня, и я увидел, как он заволновался, закрутился в водовороте, разыскивая меня, и медленно стал заходить за мою колонну. И тогда я перешел на другую сторону. Это было похоже на игру в кошки-мышки, кошки-мышки середины XX века.

Наконец я вышел из-за укрытия, и он увидел меня открытого и незащищенного и приклеился к колонне, чтобы не выдать себя, вынул: коробку «Беломора», достал папиросу, достал спички, но закурить не решился, спрятал спички и остался с незажженной папиросой во рту.

Ну, подойди, крикнул я ему беззвучно, иди, или на людях и скажи все, и я скажу тебе все. Пусть все увидят и узнают, пусть все идет к черту, и пусть кончится все сразу.

Вся ненависть обратилась на него, на его бледное лицо, на его замученную заботливостью. Вот сейчас в толпе пробраться к нему, схватить за горло, закричать, позвать народ, расплакаться: «Ты чего хочешь? Зачем ходишь за мной?» Но между нами лежала пропасть — тайна государства, и не мог я с ним разговаривать, как человек с человеком.

Я стал в очередь в кассу, искоса поглядывая в его сторону. Я смотрел на его тусклое, бледное, замученное бдением лицо, и не знаю уже почему, но казалось, что голос у него тоже тусклый, писклявый, голос скопца. Я не слышал его голоса, да, наверно, и никогда и не услышу. Мы были рядом и видели друг друга, но между нами словно было непробиваемое толстое броневое стекло.

Он стоял недвижимо, и вокруг плыла, текла толпа, работая локтями, дыша перцовкой, духами, валидолом. Какая-то женщина глянула на него и крепче прижала к груди сумочку, кто-то заехал ему локтем в живот, кто-то мазнул его по лицу авоськой с яйцами, бережно держа ее над толпой, а он не спускал с меня глаз.

Я выбил чеки и пошел. Я больше не глядел в его сторону. Теперь мне было все равно. Я шел как слепой.

— Не толкайтесь, хулиган, — сказала какая-то дама. Я взглянул на нее и ничего не ответил. Она просто была в другом мире.

— Извинитесь хотя бы, — вскричала она.

Я оглянулся. У нее были глаза с сумасшедчинкой, крашенные волосы, и вся она была какая-то фальшивая, и мне казалось, ее подослали нарочно.

Стала собираться толпа. Продавец бросил нарезать колбасу и стоял с длинным тонким ножом, ожидая, что будет дальше.

— Извините, я нечаянно, — сказал я.

— Езжайте к себе и там толкайтесь, — сказала она. И пошла, как-то странно вихляя и волоча за собой низкий зад, словно он был у нее привязан.

Кто-то тронул меня за плечо:

— Здорово, старик.

Я глядел в незнакомое лицо, и из-под морщин, из-за венчика седых волос, как сквозь переводную картинку, медленно проявилось юное оживленное лицо. Мы учились в одной школе, в какой-то группе даже сидели на одной парте. А потом он сделал общественную карьеру, и я его долго не видел, только иногда встречал его фамилию среди выступавших на активе.

— Ой, работать бы мне в зеркальной мастерской, — сказал он, — или заколачивать посылки на почте.

— Ну, ты преувеличиваешь, — сказал я, по привычке или из перестраховки.

— Святая душа.

Он усмехнулся.

— Я хочу отслужить маленькое тайное богослужение за себя. Пойду на кладбище, куплю фиалок.

А мой стоял напротив, якобы в очереди за пирожками, и смотрел на нас, и, казалось, по губам пытался узнать, о чем мы говорили. И я стал глядеть на него сквозь магазинный туман, глаза наши встретились, и мы заглянули друг другу в душу. И оба как бы испугались и отвернулись.

Потом еще пару раз, пока я ходил по магазину за покупками в разные отделы и замечал то тут, то там котиковую шапку. Теперь он так же, как и я, старался делать отвлеченное лицо, не смотреть в мою сторону, но между нами через магазинную толпу протянуты были незримые напряженные линии, безумно работала телепатия:

«Ты тут? Ты тут?» И мы оба двигались и маялись, стесненные ужасно, связанные по вертикали и горизонтали в одном магнитном поле, управляемые независимыми от нас высокими и беспощадными, и неумолимыми электромагнитными силами.

Я вышел с покупками на улицу и тотчас же, словно специально за мной, к остановке подкатил троллейбус, и раскрылись двери, но я отвел глаза, пересек улицу Арбат, к дому.

Зачем он ходит за мной? Ведь я сам могу ему все рассказать. И когда встаю, когда выхожу на кухню, где стирают, варят, судачат, сообщая друг другу шепотом, по секрету, где дают гречневую кашу-концентрат, и как кипячу чай, жарю картошку, а потом весь день лежу и читаю, читаю «Ярмарку тщеславия», или «Смерть Ивана Ильича», или «Прощай, оружие!», и с кем дружу, и как папиросы курю, скрывать мне нечего. Зачем ему ходить за мной?

И опять стал я думать: вот сейчас повернуться, подойти к нему, взять крепко за руки и, глядя прямо в бледное лицо, пронзительные глаза, тихо сказать: «Зачем ты ходишь за мной, что тебе нужно? Я позвоню Берии...» Как будто я мог дозвониться до него.

Или, может, лучше так: отвести в сторону и спокойно сказать: «Слушай, кореш, наверно, тут недоразумение. Я, наверно, не тот, кто тебе нужен, я не могу им быть, понимаешь?»

Но я не сделал ни того, ни другого. Я как бы спокойно, как бы ничего не подозревая, шел по улице.

Я даже не удивлялся происшедшему. Но была боль, был ужас, что так быстро, так неожиданно быстро пришло это. Как тень шло за мной всю жизнь и все-таки наступило неожиданно.

Кто не привык к этому с детства, кто не вырос с этим, тот никогда не поймет тупую боль, овечью покорность неминуемости.

Теперь я не видел его, где-то он в толпе шел за мной, и я чувствовал это, как, наверное, чувствуют направленную в спину винтовку где-то между лопатками, словно холодный кружочек.

Шли навстречу люди, мелькали лица, проплывали шапки, шляпы, пошел мокрый снег, и появились зонтики, прошли усеченные конусом дома, протянулись длинные очереди. Это были пристрелочные очереди, еще неизвестно было, что будут давать.

Я шел и шел, словно сквозь подводный мир безмолвия, под огромным давлением километровой толщи воды. Неожиданно меня повело куда-то в сторону, и вдруг засигналили машины, и вслед за тем окрик: «Гражданин, вернитесь», и я словно проснулся, я был на середине улицы, вокруг рычали и чадили автомобили, на тротуаре собралась толпа. В толпе торчала и знакомая котиковая шапка, и еще несколько таких шапок, и вдруг показалось, что все в таких шапках. Но я не стал больше вглядываться. Я вернулся на тротуар, там ждал меня старшина, он козырнул.

Я медленно расстегнул пуговицу пальто, достал из бокового кармана пиджака паспорт и дал старшине. Он прочитал фамилию, потом медленно полистал паспорт, вернул и снова козырнул.

Толпа разочарованно разошлась, котиковая шапка куда-то исчезла, и я пошел, держа в руке паспорт. Потом остановился у какой-то водосточной трубы и спрятал паспорт в карман, у меня дрожали руки. По трубе грохотал сорвавшийся с крыши лед.

Я пересек улицу и, понимая, ощущая всеми нервами, всей тоской, что не надо идти к дому, словно ведомый внутренней, неосознанной силой непротivления, гонимый всей предыдущей своей жизнью, покорно поплелся к знакомым, крашенным грубым суриком воротам.

Глава девятая

Я кинул покупки на подоконник. Есть я не мог. Я задернул штору и стал у окна. Желтый мертвящий свет проникал в щель, улица гудела и содрогалась от идущего транспорта, и мне казалось, что все летит в тартарары.

С каждой минутой становилось все больше машин, низко светя желтыми фарами, разбрызгивая снежную грязь, поток, несущийся в обе стороны, временами внезапно замирал, заполняя во всю ширину Садовую и выливаясь на тротуары. Потом вдруг что-то сдвигалось, скрежетало, и бурный, грохочущий поток, сорвавшийся с цепи, несся дальше в обе стороны, по разным направлениям, к разным целям.

Все гуще становился и черный поток людей на тротуарах. Они струйками выливались со всех проходных и служебных подъездов, как ошпаренные выскакивали из всех дверей и ворот и, подхваченные вечерней рекой, неслись дальше, плотной массой, огибая вдруг возникающие на пути у маленьких магазинчиков водовороты, на миг задержавшись: «Что дают?» и, присоединившись в хвост, успокаивались, или молча бежали дальше, обгоняя друг друга, выстраивались на остановках в длинные, змеящиеся, перегораживающие тротуар, мгновенно меняющие конфигурацию очереди, и когда подходила машина, сбивались в толпу и, держа над головой авоськи с молочными бутылками, жали вперед, отпихивая друг друга локтями, сумками, портфелями, вскакивая на подножку, цепляясь на ходу, впихиваясь, и видно было сквозь освещенные окна, как идущий толчками троллейбус утрамбовывался на ходу, и люди при торможении падали друг на друга, как бы втискивались друг в друга, и становилось просторнее, и троллейбус, темный, разбухший от людей, тяжело лавировал в грохочущем потоке.

Куда они все едут, бегут и зачем? Неужели их ждет что-то хорошее там, в конце пути? И уже казалось, что они хотят только побыстрее убежать с этой улицы, и если тут с ними ничего не случится, там, на других улицах будет счастье.

Я услышал вдруг громкий смех под самым окном. У фонарного столба стояло несколько юношей и девушек, они ели купленные тут же, на углу, у толстой бабы в белом пирожки и что-то рассказывали друг другу и смеялись.

Зачем они так громко смеются, как они могут смеяться и еще жевать пирожки и рассказывать байки? Неужели они ничего не знают, неужели они не видят этого желтого, мертвого, тоскливого света и желтых мертвых облаков? И что все кончено.

Но несмотря на то, что казалось, что мир скончался, вспыхнули и побежали над крышей веселые праздничные буквы неона: «Дешево, удобно, быстро».

И там, в наступившем вечере, гуще мерцающих, шевелящихся, вспыхивающих и разгорающихся огней шла своим чередом жизнь.

Кто-то гулял на вечеринке, может быть, на первой вечеринке в своей жизни, кто-то, оставшись один в учреждении, пригнувшись к бумаге, писал анонимку, кто-то в первый раз смотрел «Синюю птицу» Метерлинка, кому-то выписывали ордер на арест, а кто-то делал перманент и завивку; выпекали в горячих пекарнях хлеб к утру, на бойне за городом мычало грязное, усталое, не кормленное перед убоим глупое стадо, и кто-то кому-то говорил первые слова любви, преданные, искренние, заикающиеся, на всю жизнь до окончания вековой свечи, и при свете пылающих люстр шли торжественные, заглушающие правду жизни юбилейные заседания; и кто-то бессильно выходил из ворот кладбища; равнодушно и методично работали тройки в тишине за крепостными стенами; и где-то там, в подмосковном лесу, по зимним дорожкам

ходил и бормотал последним бормотаньем стихи старый поэт, которого затравят в другие годы.

Шестимиллионный город начал свою вечернюю, суровую, разгульную, усталую жизнь, и никто не знал и не хотел знать, и не мог знать, что кто-то мается и умирает один в своей комнате, в одной из миллионов комнаток Москвы, никому не было до этого дела. И жизнь продолжалась на полную катушку, потому что не может остановиться никогда, и что бы ни случилось — война, землетрясение, чума, чистка, погром, затмение солнца, люди хотят есть, спать, веселиться, любить, ненавидеть, завидовать и продолжать род.

— Нет такого закону! — кричали в коридоре.

— Есть, есть. Ты пьяница отвратный, червивый.

Айсоры в очередной раз выселяли своего зятя.

А зять бил себя в слабую, впалую грудь и визжал:

— Я советский человек, я по Конституции живу. А вы! Вы...

— А что мы? — пьяно надвигаясь на него, спрашивал старший сын, черный, кучерявый, страшный, и вел его, как цыпленка, за шиворот, и потянул на лестницу. И он, как паяц, перепрыгивая на длинных ногах через несколько ступенек, снизу кричал:

— Я по Конституции...

Все хохотали.

— Иди, иди... диспансерный.

Айсорская ребятня выкатывалась из комнаты в коридор сплетенным клубком, непонятно было, где ноги, где руки, мелькали только черные кучерявые головы, и все это, царапаясь и визжа, снова клубком вкатывалось в комнату.

— Уймите их, — приказал Голубев-Монаткин.

— Товарищи, дети — цветы жизни, — отвечал один из айсоров, как капля воды похожий на других.

— Вы нарушаете элементарные правила социалистического общежития, — серьезно сказал Голубев-Монаткин.

— Точно, профессор, — ответили ему.

— Вы опять пьяны.

— На твои гроши, профессор.

— Нет, я это так не оставлю, — сказал Голубев-Монаткин.

— Действуй, профессор, делай.

— Вы нарушаете основные правила социалистического общежития, — повторил Голубев-Монаткин.

— Страх, какой ты ученый, профессор.

* * *

Где-то внизу громко и нагло хлопнула дверь. Это пришел Свизляк.

Он поднимается по черной железной лестнице стуча подковками, стуча палкой, и вся квартира знает что пришел Свизляк, а затем он открывает ключиком дверь и так хлопает ею, что звенят стекла и дребезжат перегородки, и тогда и глухие, а их трое в квартире тоже понимают, что явился Свизляк.

Вот он изнутри, из своей комнаты открыл дверь и вошел в маленький, темный коридорчик и задышал, засопел, заворочался. Вот щелкнул выключатель, и он шумно снял свою собачью куртку и повесил ее на гвоздик у самой моей двери, и у меня было чувство, что на грудь мою он повесил свою синюю куртку.

Вот он открыл дверь в кухню и подпер ее палкой. И я сразу почувствовал запах капусты, жареной рыбы, мокрого белья и кипения кастрюль.

Свизляк стал у раковины и стал умываться, отфыркиваться, стонать, казалось, там купается носорог. Потом ушел и оставил дверь открытой, и я услышал из кухни:

— Приходят, а они хлещут французский коньяк из бокалов Гитлера.

— А где они взяли эти бокалы?

— Они всё достанут, травили детей, разбойники.

Я выхожу и осторожно, тихо закрываю дверь. Но Свизляк будто караулит:

— А зачем вы ликвидируете вентиляцию?

— Дверь на кухню должна быть закрыта, — говорю.

— А кто вы такой, чтобы давать руководящие указания?

Любочка тоже возражала. Она вошла в спор осторожно, покорно, как ночная бестелесная бабочка и еле слышно прошелестела:

— Я тоже прошу закрывать дверь.

Но Свизляк услышал ее и на девяносто градусов обернулся на этот шепот.

— А почему вам так активно не нравятся открытые двери, вам есть что скрывать?

Любочка покраснела, лотом побледнела и ничего не могла вымолвить.

— А известно ли вам, что при коммунизме все будут жить с открытыми дверьми, и никакой личной собственности не будет, и никаких личных секретов от общества?

Любочка молча кивнула головой в знак понимания и согласия с этой перспективой.

— Или, может быть, вы возражаете против высшей фазы коммунизма? — не смотря на ее согласный кивок предположил Свизляк.

Любочке хотелось закричать во весь голос, что она вполне согласна, что она приветствует высшую фазу, она ей тоже очень нравится, но поскольку она еще не наступила и на дворе пока еще стоит переходный период, она как бы предпочитала воспользоваться хотя бы этим преимуществом периода, одеваться и раздеваться, жить и дышать за закрытой дверью, а не на бесстрашных глазах Свизляка, но она нашла в себе силы только приложить руки к груди и еле слышно прошептать:

— Как вы могли так подумать, Фрол Порфирьевич.

— А то я смотрю... — сказал Свизляк и еще шире раскрыл кухонную дверь, подперев ее дополнительно чурбаком.

— А вас я давно уже что-то не понимаю, — с сожалением обратился он ко мне.

— А что вы не понимаете?

— В какой системе вы работаете?

— Я сам себе система.

— То есть как? Вроде частного хозяйчика?

— Да, вроде кустарного предприятия.

Свизляк покачал головой и усмехнулся.

— Но для какой-то организации все-таки работаете?

— Для какой-то — да.

Свизляк очень внимательно взглянул мне прямо в глаза, и в зрачках его вдруг пробежала испуганная искорка. На секунду, на одну только секунду он подумал про меня: а может, я *оттуда*? Но он быстро откатил эту мысль.

— Тут что-то не так, — сказал Свизляк. — Все в системе, одни вы вне системы.

— Занимайтесь своими делами, — сказал я.

— А я, между прочим, народный контроль.

— У себя в учреждении.

— При Советской власти каждое учреждение — мое учреждение.

— Слушайте, мне не хочется сейчас с вами разговаривать.

— Это я не хочу с вами разговаривать. Идите в свою комнату. Еще неизвестно, чем вы там занимаетесь.

— Я печатаю фальшивые купюры.

Свизляк раскрыл рот и с ужасом посмотрел на меня.

— Вы это даже в шутку не говорите, — тихо и серьезно сказал он.

Я взглянул на него и понял, что сегодня он об этом объективно напишет куда надо.

Бонда Давидович, стоявший у плиты над своей кастрюлькой, засмеялся, но Свизляк так на него политически взглянул, что тот осекся.

— Конечно, всякий политически сомнительный человек, — начал Свизляк, но в это время почтальон принес «Вечернюю Москву», и Свизляк, приняв газету, сказал:

— А вы, Бонда Давидович, я вижу, не интересуетесь текущей политикой.

Но кларнетист как будто и не слышал, стоял над своей кастрюлькой в ожидании, пока закипит, и молчал.

— Вся страна на лесах, — продолжал Свизляк, разворачивая газету «Вечерняя Москва», — на субботах, воскресниках, а вы даже за похороны берете мзду, за смерть.

— Не трогайте меня, — тихо сказал Бонда Давидович.

— Вы индивидуалист, вот в чем дело, а мы отвергаем индивидуализм, и дуализм, между прочим, тоже, — прибавил Свизляк.

Бонда Давидович заткнул пальцами уши:

— Не приклеивайте мне ярлыки, я ничего не хочу слушать, я честный советский человек.

— Это ты-то советский человек, ха! — сказал Свизляк.

— Не говорите мне «ты», я с вами свиней не пас.

— Ты ведь аполитичный человек, — продолжал Свизляк, — а кто не с нами, тот против нас.

— Не смейте мне тыкать, — визжал Бонда Давидович.

— Ты шахер-махер, вот кто ты такой.

— Не смейте прикасаться ко мне! — вскричал вдруг голосом ущемленной кошки Бонда Давидович и запрыгал на тонких своих ножках, и свободно висящие штрипки кальсон ударили по галошам.

— Вы зачем кричите? — спокойно сказал Свизляк, — зачем привлекаете внимание?

— Вы... вы... — захлебывался Бонда Давидович.

— Поговорим в другом месте, — сказал Свизляк.

— В другом месте? — закричал Бонда Давидович. — Пожалуйста. — И распахнул пальто, раскрывая рубаху на голой волосатой груди, будто безжалостно подставлял ее под пули. — Я готов.

— Ну, ну, интеллигент, не психуйте, — сказал Свизляк, — на крик не возьмете.

— Прочь с дороги! — закричал Бонда Давидович и, схватив свою кипящую кастрюльку, пошел, высоко поднимая ноги, будто переступая через лужу. Глаза его горели, и он шел напролом, и огромный верблюжий Свизляк отшатнулся в сторону.

Не думал я, что доживу и увижу его смерть. Мне все казалось — он вечен.

Когда он умер, его собачья куртка долго еще висела на крючке в коридоре за дверью, пока ее всю не съела моль, и однажды от нее поползли полосы шерсти, и она рассыпалась в прах, как и многое другое, некогда казавшееся вечным и незыблемым.

Глава десятая

Фонарь горел у самого окна, и комната была залита мертвым голубоватым светом. Видно было рыжее пятно на потолке, и паук, умерший в паутине, и еще что-то, затаившееся в атомной вспышке фонаря.

Улица гудела, рычала и сигналила, как обезумевший и охрипший духовой оркестр, грохотала, содрогалась, передавала дрожь через толстые каменные стены, чердачные стропила, через камень фундамента первого этажа, где звенели подвешенные люстры старой, отставной закамуфлированной актрисы.

Я не поверил своим глазам, я сошел с ума, или улица сошла с ума, или этот у ворот совсем не тот, за кого я его принимаю. Я ясно вижу, как он мелко, но явно, быстро, ловко, почти профессионально выбивает чечетку, я почти слышу стук каблучков. Что, ему стало вдруг очень весело, или забрел к нему по дороге мотивчик, или он просто взбадривает, взбалтывает себя, дает себе ритм.

Я гляжу и гляжу и не могу насытиться, наглядеться его перебирающими ножками. Хочется смеяться и плакать. Ведь и он мог бы быть человеком.

А может, в свободное от работы время он играет на баяне или на балалайке по самоучителю, может, он даже поет тенором, может, он укачивает ребенка в коляске: «Баю-баюшки-баю». Да, баю-баюшки-баю. А потом жрет водку и закусывает солеными огурцами.

А по воскресеньям едет на рыбалку, сидит с удочкой и глядит, глядит на поплавок, до ряби в глазах. Или, может, надоело ему созерцающее занятие, опротивело до тошноты, и у него, наоборот, активный отдых — на бегах, в пульку.

И он ведь некогда был мальчиком, учился в школе, бегал с клеенчатой сумкой в городе или по деревенской проселочной дороге, зубрил таблицу умножения на обложке тетради по арифметике, писал сочинение «Образ Печорина».

Вот он вытянул из кармана пальто носовой платок, крупный, как косынка, и, закрыв почти все лицо, стал сморкаться. Мне кажется, я даже слышал, как он чихает. Потом он о чем-то подумал, помедлил и вдруг совершенно неожиданно, спокойно завязал край платка узелком на память. Милый мой, хороший...

По доброй ли ты воле пошел на эту работу, так сказать, по зову сердца, или некуда было податься, или мобилизовали в одну из этих внезапных, таких неожиданных экстренных мобилизаций, или по равнодушной разверстке, когда затыкают дыры кем попало? Знал ли, понимал, что это такое?

Пошел снежок и быстро выбелил его, и в проеме ворот он как бы выделился и стал заметен, и люди, пробегая, иногда оглядывались и смотрели на него. И тогда он сдвинулся с места и пошел.

Теперь он играл гуляющего человека, пришедшего домой после смены, рабочего человека, прогуливающегося возле своего дома, под сосульками, сверкавшими на свете фонаря, заложив руки за спину и сдвинув котиковую шапку на затылок.

— Комиссия содействия! — объявили за дверью.

На пороге сияющая, с лицом калорийной булочки, пахнущая духами Зоя Fortunatovna с фальшивыми бусами, за ней непричесанная, заспанная, в пуху, будто вынутая из перины Ворончихина, и еще сзади в шапке пирожком и шубе с шалью лилипут с первого этажа, заменяющий постоянного члена комиссии.

— Мы снимаем показания счетчика, — предупреждает Зоя Fortunatovna.

Подняли на руки лилипута к счетчику, чтобы и он удостоверился. Лилипут нацепил очки, взгляделся и кивнул головой.

Счетчик катастрофически щелкал и искрился, цифры выскакивали, прыгая как сумасшедшие, вдруг счетчик начал тарыхтеть и содрогаться, и казалось, еще мгновение — и он сорвется со стены и полетит по кухне кругами, как электрический гробик. Ответственная, разношерстная комиссия стояла, оцепенев от изумления и возмущения.

— Несчастный счетчик, несчастный счетчик, — бормотала Зоя Фортунатовна, поглядывая на черную коробочку, словно на себе чувствуя его нервное напряжение, его высокое давление, и у нее от этого разболелась голова.

— Это айсоры, — единогласно решила в полном составе комиссия и в полном составе двинулась к айсорам.

Странное, загадочное сжигание лимитов всегда сваливали на айсоров, или потому, что их было так несметно много, словно электрический ток шел в пищу, или потому, что они были так темпераментны и для этого требовалось много энергии, или вообще потому, что от них всего ждали. Непонятно только, почему так молниеносно перегорал лимит, что они делали там с электричеством в своей зале с лепными потолками и жирными амурами рококо на стенах, подключали адский котел и варили какое-то варево, снадобье, которое требовало столько электрического тока, сколько блюминг?

— Прошу немедленно составить акт, — встретил в коридоре комиссию Свизляк. Он стоял у раскрытой двери Бонды Давидовича.

Комнатенку Бонды Давидовича всю занимала большая семейная никелированная кровать, и именно она была подключена к сети, и зеркально никелированные шаррики светились, а Бонда Давидович храпел в никелированном скафандре, как в люльке, с электрическим нимбом вокруг головы.

Его грубо разбудили и вынули из электрического сна, и сонный, теплый, он ничего не понимал и так качался, что его прислонили к стене, дабы он не упал.

— Я просыпался от грохота счетчика, теперь-то я наконец понимаю, почему я просыпался, — говорил Свизляк. — Даже мой каменный сон нарушался, даже моя классическая терморегуляция.

— Еще надо посмотреть, неизвестно, что он там еще такое подключал, — высказался Голубев-Монаткин, глядя на то, как Бонда Давидович в кальсонах со штрипками ходит по комнате, и отодвигаясь от него, словно он был под током высокого напряжения.

— Диверсия, — определил Свизляк, — да, да, в размерах коммунальной квартиры я имею право квалифицировать этот факт как диверсии.

А Бонда Давидович стоял одинокий в своем электромагнитном кругу, и как бы спросонья не понимал, что от него хотят, и несколько раз перекадывал или просто инстинктивно прятал свой кларнет, на который теперь тоже все смотрели подозрительно, как на незаконное оружие.

— Зачем вы меня мучаете? — сказал Бонда Давидович.

— Это кто вас мучает? Это мы вас мучаем? Вы слышите, мы его мучаем! — восклицала Зоя Фортунатовна. — Он сжигал весь электрический лимит, он оставлял нас во мраке средневековья, он лишал нас современной цивилизации, а мы его мучаем. Как вам это нравится? Нет, как вам это нравится?

— Диверсия, — упорно настаивал Свизляк.

— Все это не случайно, — искал корни Голубев-Монаткин. — Типичный представитель, взбесившийся мелкий буржуа, мы в свое время таких субчиков ставили к стенке без актов, по законам революционной необходимости.

— Караул! — вдруг закричал Бонда Давидович так, что все отшатнулись. — Оставьте меня в покое, я в трансе. — Он схватил свой кларнет и стал им размахивать, как топором. — Я сейчас все разнесу в щепы, я сейчас пошлю вас к Леонардо да Винчи.

— Это тоже надо запротоколировать, — сказал Свизляк. — И по поводу Леонардо да Винчи... оскорбление нецензурными словами.

Дверь захлопнулась, и все услышали, как два раза повернули ключом.

— Что он там делает? — вскричала Зоя Фортунатовна. — Я знаю, что он делает, он из провода делает петлю и повесится.

Все притихли. В наступившей тишине было слышно, как в комнате тихонько запищал, заскулил кларнет.

— Сбрэндил, — определил приходящий муж тети Саши.

— Диверсия, — настаивал Свизляк, — симуляция психом. Нас на это не возьмешь, нас не разжалобишь, мы не такое видели в эпоху военного коммунизма. А сейчас, слава богу, построен фундамент.

— Почему же фундамент? — медленно протянул Голубев-Монаткин. — Фундамент был построен еще в тридцатые, в первую пятилетку, а сейчас полное общество.

Началась обычная политическая пикировка, больше похожая на перестрелку, пахнущая доносом и последствиями. И Розалия Марковна, которая все эти вопросы знала теоретически еще по старым марксистским нелегальным книгам, по желтым и серым страницам брошюр издательства «Земля и фабрика», гербом которого был красноармеец в красной звездной шапке, быстрее всех ушла в свою комнату, в свою крохотульку, и закрыла дверь на ключ, оставив ключ в замочной скважине, чтобы никто не мог сказать, что она слышала что-то политически спорное.

И главное, ведь известно, что наплевать Свизляку на этот самый фундамент и на все фазы, возводимые на этом фундаменте, он даже не понимает и не хочет понять, что это такое есть, что он как жил, так и будет жить всегда, при низшей, так и при высшей и наивысочайшей фазе, и умрет в своем крольчатнике, который понятен и дороже ему всего на свете.

Но однако же боится его Розалия Марковна, член партии эсдеков, террористка-боевик, а потом агент «Искры», комиссар гражданской войны, и ни словечка не сказала, только прикрыла дверь и умерла в своей комнатке.

А Свизляк ходил по коридору, останавливался у ее дверей и куражился, и высказывался, и уже не о высшей фазе, а насчет их нации и наций вообще.

Только одна дверь не шелохнулась. Айсоры спали своим устрашающим, усталым табором. Им снились сны поважнее всего происходящего в коридоре, и им некогда было заниматься пустяками.

Так или не так, но тут же, немедленно, стали составлять акт на Бонду Давидовича, на Цулукидзе, и очевидцы, макая ручку в чернильницу, полную еще летних, утонувших в чернилах мух, ставили свои разнообразные подписи, разбудили и айсоров, и старый айсор нарисовал какие-то крючки справа налево, и оформленный по всем правилам документ ушел куда надо, и так точно куда надо, что уже через день явилась комиссия, в которой выделялся пружинистым шагом пожарник. Он ходил по всей квартире и уже заодно обследовал все углы и нашел бутылки с бензином на шкафу у Свизляка и какие-то немисливо быстро воспламеняющиеся вещества у айсоров, и когда он спускался в подвал, у него было такое лицо, что сейчас он непременно откроет там склад боеприпасов. Во всяком случае, когда в общем акте комиссии он формулировал свое пожарное резюме, выходило, что квартира эта по своей огнеопасности угрожает не только всему дому, но и всей улице, а улица прилегает к Кремлевской стене.

Глава одиннадцатая

Я проснулся вдруг, будто кто-то изнутри меня толкнул. В комнате в свете окна темной тенью стоял человек.

- Что? Кто? — крикнул я.
- Вы стонете во сне. Я думала, вы заболели.
- А как вы вошли в комнату?
- Через дверь, — тихо отвечала фигура.
- Сколько сейчас времени?..
- Только восемь.

На пороге стояла отставная опереточная актриса, крупная, костлявая, похожая на старую, выработавшуюся клячу, лицо ее, измученное гримом, печально глядело на меня.

— Я должна вам кое-что сообщить.

Она тщательно закрыла за собой дверь и потом долго к чему-то прислушивалась.

Я слышал гудение своей крови.

А потом она сказала:

- Это не мое дело, но я должна вас предупредить.
- А что такое произошло?

Она приложила палец к губам и слова к чему-то прислушалась.

— Здесь о вас осведомлялись.

Внутри у меня будто что-то оборвалось, но я безразлично спросил:

- Это кто же?
- Там дворник спрашивал, дома ли вы.
- А зачем я ему?
- С ним один человек, — туманно сказала она.
- Какой человек?
- В штатском, по-моему, из райотдела.

Я молчал.

— Из райотдела, маленький такой, блондин.

— И он тоже мной интересовался?

— Он молчал. Но дворник спрашивал, по-моему, по его наущению. Это я вам должна сказать.

Я сделал безразличное лицо.

— Ну и пусть спрашивает, мне-то что?

— Я думала, что вам надо знать, — тихо сказала она. — Он еще спрашивал, кто к вам ходит.

— А мне это неинтересно, — сказал я.

— Я понимаю, — сказала она. — Спокойной ночи. Вы бы все-таки приняли какие меры.

Меры! Что, бежать? Растаять? Замуроваться в стену? Превратиться в человека-невидимку? Эта мысль мне понравилась. Когда-то я видел картину «Человек-невидимка», он принимал какие-то таблетки и таял, превращался в призрак, в воздух, он проходил сквозь стены. Я помнил еще его голос, таинственный, пророческий, голос из небытия, из пустоты, дьявольский хохот возмездия. Он кружил везде, взрывал мосты и хохотал. За ним оставались темные следы по снегу, одни следы его только и выдавали, и те, кто преследовал, стреляли в ту сторону, где были следы. Ох, как он кричал, когда в него попали.

Я лежу и фантазирую себя невидимкой, я свободно прохожу мимо этого несчастного в котиковой шапке, прижавшегося к стене у подъезда, а он ничего не знает, я тоже дьявольски хохочу, и он содрогается, я вхожу в троллейбус и стою, держась за ремень, и никто вокруг не знает, что я еду, а я еду туда.

И вот оно, темное каменное здание на большой площади, я невидимо прохожу мимо часового и мимо второго часового, я поднимаюсь по широкой мраморной лестнице, и шаги бесшумны, призрачны, будто я не иду, а парю в воздухе; я иду длинным коридором с рядом высоких дубовых дверей, вхожу в разные комнаты, открываю шкафы и ищу и наконец — вот она, старая серая папка с черным штампом «Хранить вечно» и с моей фотографией на обороте. Откуда они только взяли мою фотографию, она совсем не знакома мне. И какое у меня спокойное, ничего не подозревающее лицо, а меня в это время снимали. И вот я листаю серое дело и вшитые в него розовые и голубые листы, и я узнаю про себя то, чего я и сам не знаю. Я читаю доносы и ужасно удивляюсь тому, кто их писал. Каких только почерков тут нет!

У дверей под порогом по-мышьиному зашуршало, что-то постороннее появилось в комнате, я это скорее ощутил, чем услышал. Я приподнялся и увидел под дверью белую бумагу. Это был обыкновенный, в линейку, лист, страница, вырванная из школьной тетради, некрасиво и плотно исписанная поперек крупным, неровным, напряженным почерком, с кляксами и перечеркиваниями.

Я стал читать и сначала ничего не понял. Мне показалось, что я сплю; постепенно смысл, странный, нелепый, дошел до меня, и я, наверно, впервые за этот день улыбнулся.

«Ввиду расстройства нервных систем у меня и у вас, — стояло в бумаге, — мы, очевидно, устно никогда ни до чего не договоримся. Поэтому пишу вам эту записку. Покорнейше прошу вашего разрешения на ночь выставлять ящик с моим ежом куда-нибудь в коридор, так как он мне спать не дает, несмотря на приемы каких бы то ни было снотворных средств. Думаю, что шестичасовое пребывание его в местах общего пользования не нарушит «атмосферное равновесие» в нашей квартире. Дальнейшие ваши неудовольствия моими действиями прошу вас выписывать или высказывать, как вам будет удобнее, мне лично, а не через посредников. С уважением Любочка».

По ту сторону дверей, как бы ходатайствуя за себя, вздыхал и ворочался на своих шуршащих иглах страдающий бессонницей еж. Иногда он стучал твердым носом о пол, что-то требуя для себя.

Я раздумывал над своей жизнью, над жизнью отца и матери, бабушки и бабушки.

У них были волнения семьи, рождений, болезней, отъездов и приездов, неожиданных телеграмм, слухов, сплетен, была смена дня и ночи, лета и зимы, пасхи и троицы, и судного дня. Были близкие и дальние родственники, соседи, была зависть, жажда, корысть, щедрость, доброта, злоба. Но никому из них в самом диком, глупом, запутанном сне не снилось мое.

Страх за сказанное слово и несказанное, за все, что только подумал и даже не подумал, а мог подумать, за мнимые ошибки твои и: не только твои, а твоего товарища, и даже не товарища, а знакомого, родственника ближнего и дальнего, родственника, которого ты даже никогда не видел и никогда не знал, что он существует, потому что уехал он в Буэнос-Айрес или на мыс Горн еще в прошлом веке, и там у него родились сын и дочь, и тому сыну или дочери вдруг вздумалось написать тебе письмо как двоюродному брату.

Странно, что все это в моей жизни, именно в моей жизни.

Те длинные, темные собрания, собрания-бойни, собрания-душегубки, собрания, на которых шло быстрое обесчеловечивание людей, собрания куриц, сороконожек,

божьих коровок, собрания тли, и это, растворенное, как адреналин в крови, чувство без вины виноватости. И постоянное, непрекращающееся ожидание неминуемого. Грянет в одну из ночей, на рассвете, или еще до того разорвет сердечную аорту, или, может, всплеснет опухолью в мозгу.

Потерянное время, утонувшее время, бесследно, навсегда исчезнувшее из единственной, раз данной жизни.

Почему же должна проходить так жизнь, эти необратимые, быстротекущие мгновения, падающие, капающие в вечность секунды?

Я приоткрыл занавес и взглянул на улицу. Его не было. Я осмотрел каждый подъезд генеральского дома на той стороне улицы, каждый фонарный столб, каждую тень, в которую он мог бы спрятаться, с которой мог бы слиться. Нет, нигде его не было. Я изучил очередь на троллейбусной остановке, может быть, он затесался в очередь, может быть, стал играть в пассажира, ожидающего троллейбус, а когда троллейбус уйдет, он в последний момент останется и опять замаскируется в очередь. Нет, и тут его не было. Машина подошла, открылись двери, проглотили всю очередь, и на пустой остановке завьюжила метелица. Не было его и среди прогуливающихся с собаками — с мопсами, фокстерьерами.

Были годы, я думал: зачем? За что? Теперь уже не было этих мыслей не потому, что я понял, зачем и за что. Я этого не понял и еще долго после этого не понимал, не понимаю, наверно, до самой глубокой глубины и сейчас. Туман равнодушия окутал меня, невозможность, непредставимость борьбы, вялая и болезненно чудовищная покорность течению событий, безысходность тупика, ограниченного ранними сумерками зимнего дня, за которыми долгая, бесконечная ночь, с ее тишиной, кротостью, боем часов, случайными криками, случайными свистками, шуршанием случайных машин.

Часть третья Вечерние огни

Глава двенадцатая

Небо над двором было почти черным, тускло и как-то забыто светила пыльная лампочка у подъезда и говорила, что незачем жить, незачем так вот одиноко и долго мучиться, не стоит этого.

Я прошел наискосок через двор и тихо, тоскливо подошел к воротам. Никого не было. Я поглядел на противоположную сторону улицы, и там было пусто. Я заглянул в подъезд, и так дико и сыро пахло псиной и мочой, что хотелось взвыть.

Я медленно пошел вдоль дома, близко держась стены. Я просто вышел дышать воздухом, что, уже разве нельзя дышать воздухом? Это был мой моцион. Я остановился у афиши, искоса поглядел направо и налево. Никого. Тогда я дошел до угла, заглянул в Глазовский переулок. Пусто. Потом вернулся и дошел до Арбата и поглядел на тот угол у Гастронома. Там стоял один, он взглянул на меня через улицу и отвернулся.

Иду и бессмысленно разглядываю витрины. В аптеке на углу Веснина грустные резиновые груши для веселья, гарнированные холодным никелем хирургического

инструмента. Потом «Часы», миллион циферблатов, показывают одно и то же время. И вот уже лезут в глаза мясные муляжи «Диетического», а за ним мигает неон.

И вдруг я увидел, что иду навстречу самому себе. В сером реглане, заячьей ушанке, резко освещенный зеленым светом, я стоял перед длинным и ярким уличным зеркалом парикмахерской, в витрине которой торчала на тонкой подставке капризная, лукавая головка с огненнокрашенным хной перманентом, и над ней зазывной плакатик: «Шестимесячная завивка с двухмесячной гарантией».

Я бессознательно вошел в теплый, наодеколоненный, приятно памятный с детства мир цирюльни. Очереди не было. Грустный длинноносый парикмахер вяло взбил мыльную пену, так же вяло намылл щеки, поглядел на меня в зеркало с одной и с другой стороны и, высунув кончик языка, быстро побрил и вяло помахал салфеткой. Девочка-подмастерье грустно глядела в окошко на улицу и сказала: «Ой, сколько небритых ходит...»

У «Строчевышитых изделий» перехожу через улицу к «Комиссионному». На черном бархате одиноко маялась туфелька и рядом белая бурка, будто парочка убежала, случайно оставив в витрине как вещественное доказательство поношенную обувь. Потом оранжевый, светящийся аквариум «Зоомагазина», золотые рыбки, сонно запутавшиеся в красивых водорослях.

Шедший впереди меня гражданин в старой черной шляпе и пенсне вдруг остановился у края тротуара и качнулся, шляпа упала в грязный снег. И непонятно было — пьяный он или больной.

В это время с перекрестка прибежал старшина.

— В чем дело, гражданин, почему нарушаете?

— Я не нарушаю, — тихо сказал человек.

— Пройдемте, гражданин, — и он взял его за рукав. Двое в ботах деликатно подталкивали его.

— Пустите меня! — закричал тот, прижимаясь к стене. — Я интеллигентный русский человек.

— Там разберемся, — сказал старшина и приемом джиу-джитсу перехватил его руку.

— Я устал. Я уст-а-ал! — визжал кошкой интеллигент.

Регулировщик, сидевший на углу у «Консервного» в своем голубом стакане, некоторое время прислушивался, потом высунулся в окошко, призывно свистнул куда-то в сторону Смоленской, оттуда откликнулись, и с другой стороны тоже засвистели.

— Ах, как мне надоели эти крестьяне со свистками, — устало сказал гражданин и притих.

Старшина, строго выслушавший его возвышенный протест, потащил его в подворотню, а те двое в ботах на ходу обыскивали его, облапив грудь, спину, ноги.

Собралась толпа.

— А чего его тащить, может быть, он больной, — сказала женщина с кошелкой.

— Чего там больной, пьяный.

— Интеллигент, а пьяный, еще в шляпе.

— Ну так что, что в шляпе, вишь, говорит, устал.

— Устанешь.

— Вишь, баретки надел.

— Вот на ногах, зимой и в баретках.

— Может, как был, так и выскочил, бедолага.

— Бедняга, сбили с катушек.

— Будет вам за такие речи.

— Еще бы не будет.

— Граждане, разойдитесь, чего не видели?

Мне показалось, что сейчас и меня потащат, и я забежал в кино «Наука и знание». Я заглянул в окошко кассы, кассирша, казалось, сидела далеко, словно виденная в обратную сторону бинокля.

— Один билет, — услышал я свой собственный, как бы пришедший издали слабый голос.

— Десять рублей — две серии, — пришел издалека ответ кассирши.

Я сунул в окошко десятку и пошел к входу.

В дверях стояла ужасно толстая, в капроновых чулках контролерша, загородившая своим животом дверь, толстыми, красными пальцами она надорвала билет и дыхнула на меня горячим дыханием печи, и, касаясь ее мягкого живота, я протиснулся внутрь, в тускло освещенное, вытянувшееся кишкой холодное и грязное фойе, в котором страдали и маялись юнцы с папиросками в зубах и пахло пивом и черствыми бутербродами.

Неожиданно зазвонил звонок, вспыхнула красная лампочка над входом, и все, толкаясь и обгоняя друг друга, ринулись в темный, холодный, надышанный узкий зал, и не успели все рассесться, как потух свет и засветился экран.

Я оглянулся. Никто не смотрел на меня. Я тихо встал и сквозь фосфоресцирующий зал, лузгающий подсолнухи, сосущий ириски, чихающий и кашляющий, пошел мимо светящегося экрана на красную сигнальную лампочку выхода и через длинную, заплеванную, разбитую лестницу, сумрачно освещенную фонарем в железной сетке, какими-то кривыми закоулками с мусорными ящиками вышел в незнакомый, тихий снежный переулок, оставляя за спиной в громадном здании, в узком, холодном зале, цветной индийский сон.

В резком свете в подвальных окнах видна была вывороченная наизнанку бедная сиротливая жизнь, столы, покрытые клеенками, раскрытые шифоньеры и дети, сидящие за учебниками, сундуки, на которых спали старухи, и какие-то безмолвные вымороженные тени, старики, курящие в закутках осторожно, виновато, и кошки, почему-то всюду были кошки.

Я дошел до троллейбусной остановки, подкатил троллейбус, раскрылись двери, я оглянулся и вскочил в него. Двери мягко закрылись, троллейбус тронулся, я глядел в заднее стекло. Какая-то машина неотступно шла за троллейбусом, упорно шла, не отставая и не обгоняя.

Вдруг я уловил на себе взгляд кондуктора, тот с сумкой стоял на своем месте в углу и со странной сучьей улыбкой через головы пассажиров, поверх шапок и шляп, не отрываясь, смотрел именно на меня, и только на меня, будто узнавал во мне приятеля. Я встал и пошел к выходу, но кондуктор, не отрываясь, будто все узнавая во мне приятеля и удивляясь, что я его не узнаю, все смотрел на меня. И я забыл, где я и куда идет троллейбус. Мелькали мимо непонятные вывески, редкие пробежали прохожие, и все было странно и ужасно. Я остановился у выхода и молчал.

— Гражданин, а интересно, кто, Пушкин, возьмет билет? — неожиданно сказал сзади кондуктор.

Вдруг замолк говор, и все прислушались.

— Гражданин в кролике, это ведь к вам касается, — сказал кондуктор.

Пассажиры, читавшие газеты, перестали читать и стали смотреть на меня.

— А еще в шапке, — сказал вдруг гражданин в синей кепке, сидевший на месте «матери и ребенка».

Остальные молчали и смотрели на меня.

— Простите! — закричал я и сунул кондуктору смятый рубль.

В это время троллейбус резко затормозил, и пассажиры попадали друг на друга, дверь раскрылась, и в троллейбус вошел человек и внимательно посмотрел на меня.

Не успела закрыться дверь, я выскочил на тротуар, кондуктор делал мне знаки, показывая мой рубль и билет, машина двинулась и мягко покатила, увозя того человека. Сквозь стекло я видел, он прошел вперед, не оглядываясь, и сел. Сердце колотилось, будто за пазуху залетел голубь.

Машины, шедшей за троллейбусом, уже не было, она исчезла.

Глава тринадцатая

Я свернул в темный и пустой Борисоглебский переулок. В церкви Бориса и Глеба шла служба. Стоял неподвижный туман, подкрашенный желтым фонарем, и сквозь деревья с голыми ветвями голубел на крышах снег. Розовые колонны барского особняка были похожи на старую выцветшую олеографию.

Из облупленного флигелька появилась старорежимная старушонка с лиловым спицем, и он залаял на меня хрипло, по-современному.

В мутном свете переулочных фонарей все притихло, прижалось к воротам, принимая расплывчатые, таинственные очертания.

Ах, какая снежная глухомань! И с какой разрывной силой чувствуешь безвременье, чувствуешь жизнь, которая будет тут без тебя, — тот же каменный переулок, служба в церкви, метель, пепельные окна домов, только все без тебя.

Начиналась метель, и переулок стал выть, как труба. И сквозь белую и призрачную переулочную пелену, шатаясь, весь облепленный снегом, шел человек и орал: «И тот, кто с песней по жизни шагает...»

Он падал на колени, пригоршнями жевал снег, подымался и, кружась на месте, идя зигзагами, а иногда и задом наперед, выкрикивал: «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет...»

Когда я поравнялся с ним, он взглянул мне прямо в лицо и, дыша жарко, сивушно, убежденно проговорил:

— Не пропадет. — И попытался ухватиться за меня.

Ветер хлопнул дверью телефонной будки, и вдруг странно и дико, страшно автомат зазвонил сам по себе и звонил долго, рыдая, захлебываясь, словно звал на помощь, звал снять трубку, послушать чей-то крик, предостережение, а может, шепот.

Странно, дико было думать, что в этой же жизни были зеленые тихие улицы, сад с розами и жасмином.

Я иду лугом, в высоких травах и рукой касаюсь белых зонтичных кашек, а рядом волнующееся, как море, просяное поле, и ветерок пахнет соснами и земляникой, и стрекочут кузнечики, их так много, что они даже не здороваются, на каждой травинке свой кузнечик кует свое собственное счастье.

Даже представить нельзя, что это я тот, который шел через луг, идет сейчас этой сырой, серой ночью, глухим зимним переулком мимо зеленоватых фонарей, закрытых ворот, темных окон.

Я шагал и шагал по замерзшим переулкам, огибая мертвые углы, выветривая тоску, страх, мимо слепых окон, в которых, казалось, никогда и не было жизни, мимо черных, настезь открытых ледяных подъездов изредка ослепляла ярко освещенная витрина или оглушала визжащая дверь пивной, откуда вместе с пьяным гамом, хохотом вырывались облака пара, пахнувшего пивом и разваренным горохом.

И, казалось, я один, один во всем городе, и никому нет дела и не может быть дела до того, что я чувствую и я бьюсь в одиночку. И было такое чувство, что каждый смутный угол, каждая тень могли вдруг ожить и превратиться в того, в котиковой шапке, и оборотнем пойти за мной следом.

Уличные электрические часы показывали разное время, и это тоже пугало и казалось странным, преднамеренным и зловещим.

Метельный ветер подталкивал в спину, загонял в тупик, словно в каменный мешок.

Где-то рычала заблудившаяся машина, где-то фиолетово вспыхивали трамвайные вспышки, дышал и полз с крыши снег и падал, и было тихо. И вдруг в случайном подъезде кто-то стонал и хихикал, живя на полную катушку.

Впереди меня плелся старик в тяжелой шубе и такой же тяжелой боярской шапке и в галошах. Шел он медленно, как бы запинаясь. Я обогнал его и поглядел в лицо, седое, серое, больное. Он шел и задыхался ему было не только тяжело двигаться, ему было тяжело дышать, тяжело жить на этом свете, прожить эту минуту было мучением, и я подумал: неужели и я дойду до этого, и у меня будет этот крестный путь в зимнюю ночь в поземку, задыхаясь в муке жизни, с пустой авоськой? Я забыл на минуту все, что со мной сегодня случилось все ушло далеко, и было неважно и ничтожно по сравнению с этим.

Неожиданно сильный порыв ветра, словно выстрел захлопнул дверь автоматной будки, и я вздрогнул. А потом ветер рванул ее назад, и снова, и снова, словно безумный; посыпались стекла, и мне казалось, что это делают со мной.

Странная, вечная аберрация чувств, когда тебе плохо или ты несчастлив, болен, тебе кажется: всему свету серо и лихо и незачем жить.

Но вот я вышел на широкую Садовую, и будто меня вынесло на сверкающее большое колесо, по которому летели тысячи мелькающих огней, догоняя друг друга, соединяясь и разъединяясь, желтые, синие и белые. Это было как фейерверк.

И снова, в который раз, я понял и ощутил, что жизнь, не зная и не желая знать, что ты чувствуешь и переживаешь, сама по себе и всегда будет сама по себе. И все будет продолжаться, все будет повторяться, и собственная твоя жизнь будет повторена в тысячах и тысячах вариантов, и ничто никогда никого и ничему не научит.

Какая-то парочка брела впереди меня. Вот они остановились у витрины мебельного магазина и, выбирая мебель, спорили, потом они постояли у высотного дома и говорили, как хорошо иметь тут квартиру, потом остановились у почты, читали расписание теплохода «Россия», говорили, как хорошо в июне поехать из Одессы в Батуми, поговорив, расстались у темного подъезда.

И тут вдруг в вечерней толпе, суетливой, спешащей, печальной и смешной, я заметил Свизляка, и словно пахнуло газом. Странно было видеть его на улице, на воле, на свежем воздухе. Он не существовал для меня вне квартиры. А он, узрев меня, выделился из толпы, выпер, сделал навстречу несколько шагов, закрывая своей собачьей курткой весь свет, я ясно и на улице почувствовал кислый запах блох.

— Нам не по пути? — сказал он.

— Я в переулок, — сказал я, повернувшись.

— Мне как раз туда и надо, — заулыбался Свизляк. И мне стало душно, страшно, вдруг показалось, что его просто подослали и сейчас он меня заведет куда надо, прямо в руки, в объятия, а они там уже ждут за углом.

И самое странное и дикое, я покорно пошел в переулок, и все, что было, отошло назад. «Куда мы идем?» — хотел я спросить. И мысленно услышал ответ: «Куда надо».

Теперь мы шли молча, и было так тихо, что слышны были наши шаги, и низкие, узкие, темные окошки деревянных домишек глядели скорбно и настороженно.

— Приятно встретить в городе знакомого человека, — сказал Свизляк.

Вдруг с крыши сорвалась огромная сосулька и разлетелась на тысячи веселых осколков. Свизляк отскочил, как от разрыва мины, и стоял с дергающейся щекой, а я рассмеялся, и со смехом прошел страх.

— До свиданья, — сказал я. — Мне в другую сторону.

Глава четырнадцатая

Гигантские качели и колесо обозрения неподвижно застыли, похожие на железных динозавров. И такая тоска сжала сердце, будто один ты остался от тех старых времен, когда кружилось колесо, и к небу взлетали качели, и взрывался фейерверк, и был карнавал, и ты под утро приехал за город, в лес, в студенческое общежитие, на поляне сверкали желтые лютики и терпко пахли свежие желтые одуванчики, и жизнь была бесконечной, за лесом всходило солнце, из сумрака кричала кукушка, и ты считал года. И это было утро начала войны.

Ветер загнал меня в открытую телефонную будку, я прикрыл дверь, и стоял в замерзшей будке, и думал, кому бы мне позвонить.

Ожило множество голосов: «Алло! Слушаю! Да!» Господи, трудно было представить себе, что на той стороне провода тепло, уютно, лампа под абажуром, книги, чай в тонких стаканах, человеческая жизнь. И лютое чувство бездомной собаки охватило меня.

Наконец, я набрал его телефон, ответил знакомый, тонкий, психованный голос: «Вас слушают». Потом голос притих. Я слышал дыхание, из трубки как бы валил пар. Я молчал, а потом тихо повесил трубку. Значит, он в порядке.

Я пошел через железнодорожный мост. Дул сильный, порывистый ветер. Я был один на мосту, он гудел и вибрировал.

Я вышел на окраину, и в небе в желтом ореоле стояла луна, сверкал снег, скрипел под ногами. В открытом поле за темной толпой длинных, низких бараков сияли огни новых домов.

Двухэтажный коттедж светился уютными современными огнями модерновых люстр и торшеров.

Я вошел в просторный, свежий, еще пахнувший краской и какой-то уже забытой чистотой подъезд. Тишина и теплота оглушили мое беспомощное беспокойство и суматошность.

На освещенной скрытой лампочкой двери, обитой оливковой искусственной кожей, сверкали ярко начищенная медная табличка с выгравированным факсимиле хозяина, вроде тех старых табличек, что некогда висели на дверях провинциальных гинекологов, присяжных поверенных. Но эта была очень новая, щегольская, какая-то нахальная. Мне стало грустно. Перед оливковой роскошью этой двери я почувствовал свое ничтожество и неустройство.

Прежде чем позвонить, я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и лишь после нажал кнопку, на звонок откликнулся собачий лай.

Дверь открыла служанка, и тотчас же на пороге, как два брата, появились два сеттера. Пахло покоем, установившимся теплом, паркетным лаком, хорошим трубочным табаком и кофе.

Хозяин в стеганой шелковисто-шерстяной пижаме с очками в тонкой золотой оправе сидел за столом в глубоком старинном реставрированном кожаном кресле и читал новенькую плотную синюю книгу, в которой я узнал последний, 13-й, том Сталина.

Он не сразу поднял на меня глаза и только, когда я сказал «Здравствуй», он отложил книгу и сказал:

— Привет, дорогой, садись.

Лицо его сильно изменилось, оно было теперь бледное, опухшее, замученное, живущее в высшем, недоступном мне мире.

Он вышел из-за письменного стола и сел напротив меня, и на мгновение установилась та товарищеская близость и доверчивость, будто мы только вышли из студенческой столовой Юридического института, где съели красный винегрет, перловый суп и компот из сухофруктов.

— Ну, как там ваши либералы? — Он снял очки.

— Почему либералы? Просто честные и порядочные люди.

Я вытащил пачку «Беломора».

— Дурачьё. Для вас — романтики! — Он засмеялся и щелкнул зажигалкой, дал мне прикурить и сам закурил.

Я забыл, зачем я пришел.

Мы долго сидели молча, он пыхтел трубкой и не торопил меня.

Потом я стал рассказывать, что со мной случилось, и оттуда, с недоступной, оглушающей высоты, где разреженный воздух, он спокойно наблюдал за мной.

Он на какое-то мгновение дотронулся до меня рукой, теплой и дрожащей, какой-то мягкой и безвольной, какой-то ужасающе испуганной и все-таки товарищеской, собрав в своей душе все остатки человеческого, юношеского.

— Только брось встречаться с Люсиным, — вдруг сказал он.

— А чем он виноват?

— Я не знаю — чем, я не хочу думать — чем, и тебе не советую думать, а брось, брось!

Он взвизгнул, а когда успокоился, с грустью сказал:

— Все мы свою голову временно на плечах носим.

Посольские сеттеры ходили вокруг, стуча хвостами, и, когда подходили, лизали ему руки.

В это время зазвонил телефон как-то нервно, громко, и слышно было, как и внизу трещит параллельный. Он поднял трубку: «Да?» — и сразу лицо его стало напряженным, беспокойным и растерянным. В дверях стояла жена и смотрела на него. Он слушал и только повторял: «Да, да», — потом прикрыл рукой трубку и тихо, дрожаще сказал: «Предлагают выступить о врачах-убийцах». Он весь обмяк, его можно было накладывать в штаны ложкой.

Я помотал головой, а жена прошептала: «Соглашайся, что ты!»

И он снял руку с трубки и уже твердо, спокойно сказал:

— Да, пришлите материалы.

И лицо его стало, как глиняная маска. Он снова сел в кресло и задумался. И вдруг лицо его исказилось.

— Я говорил тебе, не якшайся с Люсиным. Сколько раз я тебе говорил?!

У него было искривленное от ненависти ко мне лицо. Все знали, что он дружил со мной, и он знал, что все это знали.

— Говорил, что плохо кончится, скажи, говорил?

— Ну.

— Что — ну? Идиот. Расхлебывай, черт с тобой, раз ты такой болван, незачем других за собой тянуть.

— Я не тяну.

— А зачем ты пришел?

В голосе его было повизгивание, какое-то жалкое поскуливание, словно все больное, обиженное, словно страх, загнанный глубоко, вдруг вырвалось наружу. Он силой воли замял это и устало, мирно, как-то замученно сказал:

— Уезжай, исчезни на время. Ну что я могу тебе еще посоветовать.

— Понятно, — сказал я.

— Не будь на виду, пережди, пока это прекратится, — сказал он, не глядя на меня.

- А ты думаешь, что прекратится?
- Не может же вечно продолжаться это сумасшествие.
- А это сумасшествие?
- А ты как думаешь? — Он внимательно посмотрел на меня.
- Но ты в нем участвуешь.

Он развел рукой: «А что делать?» Внимательное и тревожное лицо его заострилось и посерело.

— Поступай как хочешь, я тебе ничего не говорил.

Он встал, и я встал.

— Бувай, — сказал он и подал холодную жесткую руку с негнущимися пальцами. Я пошел по лестнице вниз, по ковровой дорожке.

— Ты у меня не был, — сказал он сверху.

Два сеттера стояли внизу, и внимательно глядели на меня, и чего-то ждали.

...А он в шелковисто-шерстяной пижаме, в тонких золотых очках, как только опустилась ночь, как только затихло непрерывное движение по шоссе сверху вниз к Москве-реке, он, сидя неподвижно в кресле с новым синим плотным томом в руке, уже не понимая, что читает, прислушивался к идущим сверху, из города, по шоссе машинам. С тех пор, как ему рассказали, как взяли на рассвете его приятеля, как приехали за ним на казенной машине, он уже не мог спать и просиживал так ночи, ожидая, слушая дальний, как жужжание пчелы, звук, зарождавшийся где-то там, вдали, потом он нарастал, заполняя собой всю ночь, приближаясь к самому окну, к самому сердцу, на мгновение останавливалось сердце, и визжа и плача, машина проносилась вниз и уходила все дальше и дальше, гложив за кладбищем, в дебрях ночи. Но уже там, наверху, зарождалась новая пчела, и снова он слушал, жадно ждал приближения, и с воем, все нарастающим, машина приближалась к самым окнам, к самой душе. И он считал машины всю ночь до рассвета, считал машины и ждал своей. И только когда начинали шуршать троллейбусы, и бодро, звонко, громко раздавались первые голоса улицы, и проходили темные фигуры с еще пустыми авоськами, он понимал, что на этот раз пронесло, и, приняв снотворное, засыпал ужасным, чутунным сном, в котором взрывались машины.

Город застыл, замер.

Я вспомнил, как мальчиком некогда приехал из местечка. И впервые услышал шум большого города там, из окна седьмого этажа на Тарасовской улице в Киеве, этот рассеянный в воздухе, вездесущий, всепроникающий и обнадеживающий шум, сотканный из автомобильных сирен, трамвайных звонков, скрежета вагонов на круте, каких-то таинственных родственных гулов, сигнальных рожков, тяжелого хода поездов на железнодорожной линии, все то, что, как порохом, заряжает молодое, открытое всему и готовое ко всему сердце. И жизнь казалась бесконечной.

Это было давно, это было так давно.

Низкие грязно-желтые тучи, из которых по временам внезапно сыпался сухой, жесткий снег, желтые фонари, и желтые смутные окна домов, и желтые замерзшие окна проезжающих троллейбусов, низко метущая поземка — все заколдовывало такой гнетущей, такой беспросветной сумасшедшей тоской, что только и сил было идти и идти, не глядя куда, лишь бы идти, не останавливаться, не думать, чем это кончится.

Казалось, сам город, этот древний город, существующий века, приспособился: он стал сумрачным, его вымирающие к десяти часам вечера улицы, мрачные, с оранжевыми муляжами витрины, тускло освещенные кино с одной и той же по всему городу единственной кинокартиной «Чижик», стенды с серыми, похожими друг на друга газетами, тысячи тысяч раз повторяющийся один и тот же каменный портрет, мертвеющий, затухающий, как у бесконечно больного человека пульс, приводят в от-

чаяние. Ночь давит, гнетет, и каменные дома давят и гнетут, и впереди кто-то прячется за выступами и ждет; весь город кажется одной серой, сплошной громадой, из которой никуда нельзя удрать, и куда ни пойдешь, куда ни свернешь, будет то же низкое, желтое, гаснущее небо, те же серые безнадежные стены, желтые фонари, и всегда за углом кто-то прячется, следит за тобой и дожидается.

Это налетает, как вихрь. Пустота, оглушительная пустота. Будто из города выкачали воздух, и улица безмолвно и нечаянно уходила вдаль, и дома стояли, как театральная декорация после окончания спектакля, никому не интересная и не нужная.

Загорался где-то свет в высоком окне, и он тоже был неживой, нарочный, и не чувствовалось, что за ним чья-то сиюминутная жизнь, судьба.

Вспыхивали и гасли светофоры, беззвучно пролетали по улицам машины, кто-то суматошно в неполюженном месте перебежал дорогу, кто-то в уличной толпе у края тротуара, прощаясь, наскоро целовался, швейцар в золотой канители не пускал кого-то в ресторан.

Зачем это было и к чему?

И все казалось одним немым, ненужным, заигранным и скучным спектаклем. На один только миг я вдруг возвращался, и все оживало и голосило, как в детстве и юности, свистело милицейскими свистками, шуршало автомобильными шинами, трезвонило старыми, добрыми трамвайными звонками.

А когда я вышел в центр, меня охватило странное чувство иллюзорности, неправдоподобия и одновременно уже раз где-то виденного, не понятого, не прочувствованного до конца, жуткое чувство, что я не надышался, не выжил все это, а оно уже не нужное мне, в покойническом свете люминесцентных ламп, расплывчатое и тусклое, как на экране локатора, идущее где-то в тумане, и штормах, и брызгах, и живом ветре, независимо от меня и не для меня.

В первый раз, когда это случилось, когда оглушили эта пустота и равнодушие, ты очень испугался, казалось, что это конец, что больше никогда ничего не будет. Но потом это прошло, просто прошло, и даже не верилось, что это было с тобой, а потом это снова настигло, оглушило, и ты все время ждал и говорил себе: это пройдет, пройдет. И так оно и было.

Тут у меня уже был некоторый опыт, и я знал: надо только иметь некоторое терпение, не впадать в панику, и это пройдет, снимется, как катаракта с глаза, и следа не останется.

Но вместе с этим и жизнь проходит, будто просачивается сквозь сито.

Глава пятнадцатая

Раньше в вечернем центре мне всегда было радостно, завлекательно, только выходил из метро на площадь Революции, и вечерние огни, и случайная, возбужденная, взбудораженная толпа безвестных женихов, рогоносцев, любовников, зевак, и эта атмосфера ожидания приключений. Я сразу все видел, и понимал, и на лету схватывал улыбку, взгляд косой, мимолетный, похоронную фигуру безнадежного стояния и понимал, что к чему и что будет дальше, кто просто надеется на манну небесную, у кого шансы и кто сиюминутно счастлив, а кто срочно идет ко дну. Но и те, и эти были в хмелю, захвачены блеском фонарей, нервным тиком вечерней улицы, вовлекая и меня в яркое колесо.

Я с наслаждением глубоко вдыхал этот искрящийся, возбуждающий воздух, блеск фонарей, блеск капроновых чулок, бандитские улыбки, горячий, чадающий запах солянки на автобусной остановке, шелковистое шуршание женских плащей, кожа-

ный служебный дух командировочных портфелей, яркий, беззащитный цвет первых нарциссов. «Нарцизы, нарцизы, фиалки из-под Крыма!»

И чей-то голос иронически парировал: «А ну-ка, пройдитеесь вдоль пирса!» И я тоже, как и другие, медленно, независимо прохаживался вдоль пирса, разглядывая лица и ноги, туда и назад, как челнок, туда и назад, нервничая и взвинчивая себя, словно ожидая кого-то, словно твердо зная, кого я ожидаю, и тот, кого ожидаю, это тоже знает и уже торопится сюда в набитом вагоне метро, или дальнем автобусе-экспрессе, или троллейбусе. И неоновое свечение, крик афиш, и чья-то качающаяся, затягивающая тебя в воронку, походка.

И я не чувствовал одиночества, объединенный с сотнями, с тысячами таких же одиноких, знакомых и незнакомых, даже невидимых на других улицах и площадях, но которых я чувствовал идущими в горячей толпе, зыркающими, шаркающими подошвами вослед, подмываемыми надеждой на случай, на встречу, вечной неугасимой надеждой, живущей и в моей душе, спаянными вечерним неоновым свечением, блеском вечерних фонарей, блеском листвы и тем неуловимым, недоговоренным, недосказанным, недомолвленным, обещающим, что всегда живет, струится, растворено в сумерках Большого города.

И потом прохладный «Арагви» с Витязем в тигровой шкуре или погребок «Иртыш», где ныне «Детский мир», чад шашлыков и острый запах сациви, звуки зурны и раздражающее душу пиликанье команчи. А потом уже за полночь «Ласточка» у причальной стены на Фрунзенской напротив Парка культуры и отдыха, легкое мнимое покачивание, огни проходящих речных теплоходов, и тяжелый ход, и рабочее дыхание ночных грузовых барж, и чувство отстраненности от жизни города, отъединенности от его огней, которые рядом и одновременно далеко за водой морей и океанов. На рассвете прощание на розовом углу Якиманки. Я записываю телефон обгорелой спичкой на коробке «Казбека», а она губной помадой на игровой карте, перевернула карту — шестерка, и сказала: «Дальняя дорога...»

Я остановился у ярко освещенного подъезда Театра имени Пушкина. Я еще помнил, когда тут был Камерный театр, я еще помнил «Жирофле-Жирофля» и «Адриенну Лекуврер» с участием Алисы Коонен и потом «Оптимистическую трагедию» — последний всплеск, последний крик.

В освещенной витринке «Сегодня» значилось: «Третья молодость», — это о гениальном открытии старушки Лепешинской. Вышел служитель в ливрее, вынул «Третью молодость» и вставил новый трафарет.

— Скоро конец спектакля? — спросил я.

Он подозрительно взглянул на меня, словно это была военная тайна, промолчал и пошел с «Третьей молодостью» под мышкой в театр.

Вдруг в вестибюле вспыхнули огни, распахнулись двери и хлынул поток. На тротуаре собрались зеваки поглядеть театральный разъезд. Толпа была какая-то серая, унылая, в затрапезе, некоторые даже с авоськами и портфелями, словно после долгого, утомительного собрания. Больше всего было девчонок, еще одинокие или парами старушки и очень мало мужчин, несколько военных летчиков и командировочные в кожаных пальто и цветных шарфах, с чемоданчиками, очевидно, не достали еще гостиницы.

Иногда казалось, кто-то из толпы вдруг пронзительно глядит на меня, но этого не могло быть. Он шел из театра и ничего не мог знать, но все-таки я оглядывался и проверял, ушел ли тот пронзительный прочь, и только тогда успокаивался.

Все до последнего человека вышли, появился уже знакомый служитель в пальто и ушанке, закрыл дверь, заложил ее палкой изнутри и ушел. Погас свет в подъезде. Я оглянулся, никого вокруг не было, и я пошел вверх, к Пушкинской площади.

Фонари на бульваре тускнели и разгорались, иногда фонари мигали, зимний ветер раскачивал их.

Я пошел мимо темного спящего дома Герцена, мимо «Кинохроники», которая когда-то называлась «Великий немой» и где сейчас в маленьком длинном провинциальном зале с покатым полом показывали «Во льдах океана», мимо старой аптеки на углу, которая еще помнила Страстной монастырь и, наверное, поставляла лекарства монахам, и где еще и сейчас старики и психи могли всегда достать готовую микстуру Бехтерева, мимо Пушкина, который еще был на месте, там, где его поставили любители изящной словесности, и к которому не зарастала народная тропа; и мимо дома, на угловой башенке которого стояла каменная женщина, мимо Елисеевского, пылавшего купеческими люстрами, бывшей гостиницы «Люкс», где доживали последние коминтерновские деятели, мимо тупых, тяжелых комодов — домов Мордвинова, пошел вниз по тусклой и почти пустынной улице Горького к Охотному ряду.

В вестибюле гостиницы «Москва» было чисто, тепло, парадно и пусто, как на избирательном участке в ночь перед выборами.

Там, в конце длинного вестибюля, в нише, высвеченный маленьким прожектором, мерцая, стоял во весь шинельный высокий рост мраморный генералиссимус, и еще слева, за аптечным киоском, он же в кителе сидел на широкой садовой скамейке рядом с Лениным, как бы обнявшись по-дружески, свойски, неразлучно беседуя, и не он, а Ленин, склонившись к нему в мраморной чуткости, прислушивался, ловя его советы. И кроме того, еще со стены, с огромного панно, он с трубочкой в зубах, задумчиво и мудро глядел в полуоткрытое зашторенное окно кабинета поверх кремлевских красноосвещенных восходящим солнцем стен на утреннюю, летнюю, озаренную его жизнью Москву. И повсюду стояли горшки с бледными зимними оранжерейными гортензиями и была торжественно-траурная тишина.

Несколько ночных пассажиров с крашеными фанерными чемоданами прошли в сумраке между мраморными колоннами к ярко освещенному окошку администратора и что-то спросили, им что-то ответили, и они отошли, и стояли растерянные. И так они были нелепо чужды и беззащитны в своих черных и синих длиннополых пальто, с деревянными чемоданами среди храмовой высоты вестибюля, калориферного тепла и зеленых кадок с пальмами, на виду у пятиметрового мраморного генералиссимуса. Они держали короткий, тихий провинциальный совет и гуськом, мимо швейцара в серебряной канители, неподвижно стоявшего у дверей, вышли друг за другом с деревянными чемоданами России в снежную метель.

У окошка дежурного администратора было тихо, казалось, номера выдают в небесной канцелярии, вдруг звонили с седьмого неба и говорили: «Броня», и если и, бывало, какой-то дикий, заросший командировочный провинциал в сапогах с галошами и разбухшим портфелем, или в чеховском пенсне с саквояжем, или же пьяный московский мастерской, вдруг случайно залетевший в гостиницу, спрашивали: «Номера есть?», — им отвечали: «Не бывает...»

Такими странными, холодно-чужими казались теперь эти мраморно-парадные колонны, и хоры, и высокие лепные потолки, словно это был дворец шаха, Гарун аль-Рашида, а в войну, когда я вернулся из партизан, я долго жил тут, возвращаясь, как к себе домой; вдруг на минуту пришло ощущение, что я и сейчас тоже живу, и в теплом уютном лифте поднимаюсь на свой этаж, в свой номер, и все это невозможно отдалилось, словно это было в другой стране или в другом веке.

Я сел в мягкое кожаное кресло, и мне стало покойно и хорошо.

...Скоро Новый год, в ресторан «Москва» съезжаются гости, у парадного ярко и празднично иллюминацией украшенного подъезда сержанты милиции еще на улице проверяют пригласительные билеты.

А в тихой и пустынной гостинице по мраморной лестнице поднимались три молодых человека в серо-стальных коверкотовых костюмах, новых носках и новых лаковых штиблетах. Они разделись внизу и на вопрос швейцара «В какой номер?», ничего не ответили, только взглянули ему в глаза, и он кивнул, и покорно взял их одинаковые, сшитые в одном ателье пальто, и одинаковые велюровые шляпы, и с поклоном вручил жетоны, и проводил их серьезным грустно-восторженным взглядом.

Через гостиничный служебный вход они вошли в ресторан, в жаркое праздничное многолюдство и смелым шагом меж роскошных, сиявших белизной и нетронутостью, уставленных с обычным излишеством длинных пиршественных столов прошли в дальний угол, где их уже ждал отдельный маленький столик.

Они сидят, как братья-близнецы, блондины, сероглазые, с одинаковым перманентом, и чокаются чопорно, служебно, немного печально, пьют сладкий портвейн, небрежно закусывая соевыми шоколадными батонами, и загадочно, томно усмеваются, то ли тому, что они пьют, то ли тому, что они в этом зале одни знают.

Зачем они вызваны и по накладной, по перечислению выписан им портвейн и соевые батоны? Кто в первые часы Нового года отгуливает, веселится последние часы своей вольной жизни? Не за этими ли тремя, в глаженных костюмчиках, что сидят в отдалении, в одиночестве, на высоких круглых кожаных табуретах бара, активно чокаются и что-то грустно, чуть слышно бормочут друг другу? А это были мы, у нас не было пригласительных билетов, этих длинных глянцевых билетов с разноцветными елками и готическим шрифтом. Мы тоже прошли тем же внутренним ходом, будто жильцы гостиницы, будто только с поезда, с Дальнего Востока, и, когда били куранты и взорвался оркестр, сквозь фейерверк летящего на нас конфетти, стреляющих пробок шампанского проникли за толстую портьеру, и эту минуту ликующего крика, когда внезапно и сразу забываются все прожитые годы, все несчастья, потери, боль и тоска и есть только это наступающее, видимое с вершины, под гром музыки, в короне жаркого света люстр будущее, сулящее, как и всегда и вечно, надежду на счастье, эту минуту мы переживали неприкаянно, прячась за толстой портьерой, наедине с холодным ресторанным окном, глядя на немую, метельную Манежную площадь, по которой игрушкой катился мимо мертвых фонарей одинокий, пустой, замерзший троллейбус.

Но только стих первый шквал и поднялись из-за столов танцоры, мы вышли из укрытия и втроем, в мужской компании, привольно куря сигареты, с чувством приглашенных, которым надоело веселье, стали спускаться по лестнице в бар.

И тут, сидя на высоких, круглых, обитых хрустящей вишневой кожей табуретах, чокаясь бокалами, выпили шампанское за Новый год. Мы пили за тех, которых тут нет с нами, и шепотом, скорее одними губами, одними глазами произнося тосты, выпили за тех, которых берут этой ночью прямо от елок и праздничных столов, срывая ордена и медали, с мясом срывая погоны, а потом выпили за тех, на которых только сегодня выписаны ордера, а потом за тех, на которых только получены анонимные доносы. Так мы сидели и пили...

— Гражданин, вы кого ждете?

Передо мной стояла женщина-администратор в строгом темном костюме и ба-тистовой блузке, резко и лишне пахнувшая духами.

— Вы кого ждете? — повторила она.

— Самого себя, — вдруг сказал я.

— Тут не положено.

— Что не положено?

— Гражданин, русским языком сказано — пройдите, а не то поговорим в другом месте.

— В каком же другом?

— Вы знаете, — сказала она.

Я встал и тихо вышел. Администратор-женщина проводила меня взглядом до самых дверей, и швейцар в фуражке с серебряной канителью, стоявший у дверей с заложенными назад руками, тоже проводил меня взглядом, и я вышел с чувством, будто я что-то украл или хотел украсть.

Глава шестнадцатая

Фольгой сверкали снежные липы в сквере на Театральной площади, и сквозь медленно падающий в темном городе снег, как на картине прошлого века, стоял Большой театр с чуть подсвеченными колоннами.

Я прошел через заснеженный сквер, вдоль железной ограды которого вытянулась колонна длинных темных ЗИСов с кремовыми занавесками.

Нет, это не был веселый вечерний хаос, театральная суета балетоманов. Это был строгий, почти военный, через определенные интервалы строй одинаковых, зеркально-лаковых, без единой царапинки, свободных, как дворец, лимузинов. Еще издали чувствовалось поле напряжения, отделявшее их от всего окружающего мира. Это были машины, спустившиеся с высокогорных дорог, с тех разреженных пространств, где нет регулировщиков, с желтыми фарами и окантованными в рамки паролными номерами, при виде которых земная трасса отдавала честь. Это были не машины, а аппараты, если кто приблизился, мог почувствовать не горелое смазочное масло, а чистое железо, шинельное сукно, аскетизм, всеислие.

Лимузины эти подкатывали к особому запасному подъезду и выходил один он, как бог, а потом его соратники цепочкой, как апостолы, и вокруг была пустыня улиц и стояла чуткая, намагниченная тишина.

Когда лимузины мягко сдвигались с места, рванувшись вверх желтым светом и лягушачьей сиреной, за ними с той же скоростью шли цугом «Победы» с моторами «мерседесов», и кавалькада пронеслась бесшумно и молниеносно на зеленой волне спящего города.

Шоферы в кожаных пальто и министерских пыжиковых шапках стояли тесным своим кружком, как члены одного ордена, намертво спаянные, крепче, чем может спать какая-либо современная сварка, круговой порукой, подачками, привилегиями особого секретного положения. Они не были ни главными фигурами, ни их помощниками, ни даже помощниками тех помощников, они были только подсобники, но они в службе, да и вне службы жили в ином, особом, озонированном высшем мире, и разговаривали они между собой будто молча, будто не открывая рта. И такая тишина была огромная, глубокая, все окаменело, онемело, и в небе над колоннами кони застыли в полете под темными, рваными зимними тучами; казалось, еще миг, и они не выдержат этой гнетущей тишины и улетят вместе с тучами в великую вольную вселенную неба.

Вдали, у ступеней Большого театра, вышагивало несколько сержантов милиции в добротных, несержантских шинелях, а в тени у колонн и под заснеженными липами как бы нечаянно торчали немые, темные силуэты.

Я на миг остановился, очарованный и пораженный волшебными пропорциями вечной и великой простоты коринфских колонн и подсвеченных коней Аполлона, и ко мне уже приближался силуэт в черном длиннополном пальто, и, очнувшись, я стал уходить.

Казалось, и деревья смотрели на меня хмуро и неодобрительно, и извилистая тропинка через снежный сквер вела куда-то, куда бы и незачем, совсем не надо было

бы идти, и я попытался свернуть на целину, но это совсем показалось диким, и несуразным, и очень подозрительным, и я поплелся одинокой протоптанной тропинкой. Неведомая сила тянула меня между белых деревьев к колоннам, а я, стараясь не глядеть на колонны, и на машины, и сержантов в тонких шинелях, прогуливающих по пустынному проспекту перед колоннами, и вообще не глядя ни на что, пряча глаза, как сквозь минное поле, прошел через пустое пространство у Большого театра.

Длиннополый провожал меня взглядом, и шоферы в министерских шапках очень чутко, почти все сразу взглянули на меня. Я шел, подключенный к высоковольтной линии, пересек дорогу к ЦУМу, где в больших, зеленоватых от неестественного света витринах навтыжку стояли манекены с лаково глиняными лицами, карминными, будто накрашенными губами, в пиджаках, которые распирала широкая мужественная грудь, и почему-то они тоже казались переодетыми агентами, назначенными стоять в витринах. Я шел, освещенный неонами, и еще двоилось и троилось в глазах, пока на углу Кузнецкого не попал в тень, и только тогда я почувствовал, как упало напряжение и как я устал.

Я повернул на Кузнецкий мост.

Сейчас он был мертв, тяжелые дома с кариатидами нависали над узким ущельем улицы и давили меня, и лишь легкие, изящные куклы в высоких зеркальных витринах Дома моделей легкомысленно оживляли грустную кладбищенски-пустынную улицу, говоря о тщете этой жизни и превращении всего на свете в конце концов в кукольную комедию.

Большой Гастроном уже был закрыт. Был тот последний миг, когда продавцы убрали с холодильных прилавков окорока, сыры, и в кассах кассирши считали вырубку, а у входа сторож в тулупе милосердно уговаривал запоздавших: «Не будем, граждане». В это время к магазину подъехала низкая, серая машина «Связь», из нее вышел артельщик в кожанке с оттопыренным бедром, с брезентовым мешком, ключом постучал в дверь, и сторож с той стороны открыл ему.

Все было закрыто и затемнено: магазины, кафе, пельменные, пирожковые, ярко освещены были только киоски «Мороженое», а еще замерзший мужчина продавал с открытого лотка новое академическое издание Данте. Я остановился и полистал Книгу ада.

В табачном киоске на углу горел свет, за замерзшим стеклом, среди разноцветных коробочек замороченный старичок в очках отщелкивал на счетах. Я тихонько постучал, старичок даже не поднял головы. Тогда я постучал сильнее и крикнул:

— «Беломор»!

Старичок вздрогнул, словно крикнули: «Пожар!», — и поднял на меня испуганные, печальные глаза, в которых было несчастье недостачи. Я жестами показал: «Курить хочу, ради бога» — и повторил:

— «Беломор».

Старичок, как загипнотизированный, отодвинул дощечку и молча выкинул пачку с синими линиями каналов.

— Спасибо, большое спасибо, — сказал я.

Сквозь стекло я видел, как старичок опасливо встряхнул счеты и начал все сначала.

Я жадно закурил и глубоко несколько раз затянулся дымом, и сразу мне стало как будто легче, словно я поговорил со старым верным другом и тот меня немного успокоил.

Глава семнадцатая

Я шел каменно-пустыми, как во время воздушной тревоги, улицами, будто из них вынули душу, язык. Длинные старые торговые ряды в стиле ампир, все эти мануфактурные, галантерейные, железно-скобяные, москательные лавки, миллионерские особняки были сплошь заняты мелкими и мельчайшими учреждениями.

Бесконечной чередой тянулись темные, мертвые окна бесчисленных министерств и ведомств, расплодившихся, отпочковавшихся друг от друга, разделенных, и вновь соединенных, и вновь раздробленных, разбухших, страдающих водянкой, разных добровольных обществ, за которыми не было никакого общества — одна вывеска, одно штатное расписание, одна печать, затопивших, заполнивших подворья, пассажи, боярские палаты, извозчичьи кабаки, кадетские корпуса, бордели, дворцы, иллюзионы, рестораны, гостиницы, танцклассы, вникших в древние стены, башни и башенки китагородской стены, в подвалы и подземелья Маросейки, Варварки, Солянки.

У всех подъездов, тесня друг друга, вися друг над другом, было огромное количество вывесок и табличек, высокомерно золотых, маленьких, сереньких и совсем крохотулек, с какой-то татарской вязью, разных трестов, агентств, контор, конторишек, филиалов. И в окнах видны были заляпанные чернилами канцелярские столы, стеклянные шкафы, набитые папками, железные сейфы. Столы стояли в вестибюлях, под лестницами и выпирали чуть ли не на улицу. Всюду были комендантские будки с окошечками, как в тюрьме или лагере. Со звоном открывались железные ворота, и выезжали машины или мотоциклеты с фельдъегерями.

Я вышел на площадь Ногина. Огромное здание бывшего Наркомата тяжелой индустрии, в котором некогда наркомом был Серго Орджоникидзе, и куда я приезжал еще подростком из Сибири с изотовцами — горновыми и сталеварами, — и где теперь было Министерство угля, и Министерство нефти, и Министерство черной металлургии, и Министерство цветной металлургии, и различные главки, и все, все было освещено, и пылало, и, казалось, жужжало, как пчелиный улей.

Сталин не спал, и министры не спали, и их заместители, и помощники, и референты, и секретарши, и стенографистки, и главные бухгалтеры, и главные геологи, и главные сталевары, и главные прокатчики, и главные технологи, и курьеры, и буфетчицы, и самокатчики, и фельдшера, и телефоны ВЧ, и охранники, а там, по всей Великой стране, не спали секретари обкомов, командующие военных округов, директора заводов, начальники шахт — вся страна перестроилась, перекроила свой день, свою жизнь на распорядок по организму бессонного генералиссимуса.

И пока он не спал, он где-то там бодрствовал, и курил свою трубку, и стоял у глобуса, никому не было спокойно, у всех было тревожно на сердце, и никто не спал и ждал, иногда просто сидел за столом и смотрел на телефон.

Я пошел вверх по Солянке, потом по Покровке, Улицы были мертвы, слишком ярко светились витрины, и свет их был безжизненный, бесцельный и какой-то наигранный. Прохожу мимо магазина «Канцпринадлежности», и в неоновом свете так ясно видны все эти прекрасные и удивительные вещи — раскрытые готовальни, и на зеленом и черном бархате циркули и кронциркули, волшебные фонари, перочинные ножики. И я с азартом мальчишки все это разглядываю, смакую, владею этим, держу в руке и маюсь.

В сущности, я никогда этого не имел. Как все так случилось? Теперь я иду по улице и думаю, сколько же великолепных, чудесных вещей прошло мимо меня. Никогда не было у меня калейдоскопа, не было ружья, фотоаппарата-«зеркалки», не летел я на велосипеде по улицам в велосипедной каскетке в мелькании солнечных миражей. А

позже ни разу не держал в руках, не крутил баранки, не чувствовал дрожи восьмидесяти лошадиных сил, мягких и покорных, — и мимо ночных строений, ночных теней, по асфальту дороги, к цели и бесцельно.

И вот еще что: правда, есть на свете Мадрид, Рио-да-Жанейро, есть Канарские острова, и Балеарские острова, и Огненная Земля. Или это только на голубой карте полушарий, там, в детстве, в писчебумажном магазине...

Где-то в покровских переулках свистел милицейский свисток, вслед за тем, казалось, послышался грохот выстрела, и ночной страх, каменный ужас пустого города коснулся меня и погнал вперед к свету, на широкую, как река, магистраль Земляного вала.

Метелица кружила, как в поле, и багровые фонари уходили в туман, желтея там вдали.

Одинокое катился троллейбус со снегом на крыше, замерзший, скрипящий. Он как бы случайно залетел на эту широкую улицу, и ему было холодно, студено на свистящем, открытом ветру, и он спешил поскорее укатить туда, вниз, к Орликову, и казалось, что там, в конце пути, его ждет теплое убежище. Не может же он так без конца кружить и кружить в метель.

Улица была просторной, пустой и вольготной, новые номенклатурные дома выходили на тротуар парадными мраморными портиками, и уютно и жарко светили сквозь метелицу своими широкими оранжевыми и голубыми окнами отдельных квартир, и говорили о радости жизни, покое, и резко контрастировали рядом смутные, узкие, немывые окна коммунальных комнатушек, в которых поверх занавесок видны были тени на стене, среди старой мебели. И я узнавал свою жизнь, пропащую и тусклую.

Я зашел в одинокую забытую телефонную будку и набрал номер. Из мертвой ледяной трубки послышалось: «Да, кто там?..» Я послушал, жадно вдыхая в себя этот мирный и уютный голос, и тихо положил трубку. Я не имел сил говорить, все во мне одеревенело. Я шел дальше мимо темных витрин. И вдруг совсем рядом завывало, задрезало. Я вздрогнул. Громадный черный железный ящик милицейского телефона на углу дико гудел, и содрогался, и вибрировал. С поста медленно, в огромных валенках и тулупе шел на звук сирены, весь в инее, регулировщик. Он открыл железный ящик, взял трубку и искоса взглянул на меня, и я, не оглядываясь, быстро пошел, чтобы не подумали, что я подслушиваю.

Почему-то всегда, когда мне плохо, тоскливо, я иду на вокзал в станционную сутолоку, в эту насыщенную электричеством атмосферу ожидания и надежды, словно к истоку своей жизни, и мираж обновления, иллюзорные чувства, что все начнется сначала, только уедешь на поезде, что все еще будет там, за далекими верстами, будоражат и успокаивают.

Очевидно, это привычка поколения, начавшего свою жизнь с вокзала, с прощания, с разрыва в самые юные чувствительные годы со всем прошлым, с детством, с отрочеством, отчим домом, первыми учителями, навсегда, напроць, на веки веков.

До сих пор не могу равнодушно слышать в ночной тишине дальний гудок паровоза, хотя уже знаю, прекрасно знаю, чем все это кончается. Гудок на самой высокой щемящей ноте уводит вперед, в раскрытые поля, вдаль, за леса, за горизонт, и нет сил, просто нет желания противиться, снова и снова кажется, что все только начинается, все еще впереди, что все еще будет.

Каланчевская площадь трех вокзалов, ярко освещенная, жила своей бессонной ночной жизнью. По ней шныряли прохожие, и то и дело к вокзалам подъезжали и уходили машины.

Я пошел на Казанский. Толстая контролерша у входа крикнула: «Билеты!» Я сказал, что есть билет, и, не останавливаясь, прошел. Запахло паровозной гарью, хлоркой, пеленками, густым до непродыха вокзальным воздухом, почти паром.

Вокзалы, как люди, неодинаковы. И если Ленинградский, или, как он назывался раньше, Октябрьский, а еще раньше Николаевский, вокзал — пижонский, аристократический, служебно-командировочный, пуст и звонок, пассажиры прибывают на такси почти к самому отходу «Красной стрелы» с портфелями или маленькими, артистическими чемоданчиками, кинозвезды, академики, генералы, иностранцы, и, никогда не задерживаясь в ресторане или буфете, проходят на платформу, и редко встретишь пассажира с тюком или мешком, то Казанский вокзал — вокзал народный, плебейский, многонациональный, вокзал пассажиров дальнего, транзитного следования с огромными плетеными корзинами или деревянными чемоданами с замочками, и они прибывают задолго, может, за сутки до поезда, и тут и живут и спят.

У главной стены нерушимо стоял пятиметровый мраморный вождь в длиннополой шинели и полувоенном картузе, заложив, руку за борт, и у его подножия роился, копошился, шумел, жужжал, колупал крутые яйца и чистил апельсины, храпел, томился, засыпал, и просыпался, и мучился пассажирский народ, а он, заложив руку за борт, с высокомерно каменным лицом поверх голов глядел вдаль, только вдаль, видел то, что никто не видел и не мог видеть.

Тут были древние старики, похожие на паломников, сибирские мужики в тулупах и пимах, узбеки в пестрых ватных халатах и тюбетейках, матросы Тихоокеанского флота, рязанские бабы, калмыки, ойроты, уральские рабочие, астраханские рыбаки, волгари, — здесь была вся Россия, жаждущая перемены места, куда-то ее несло, какие-то мечты, надежды и иллюзии, как огни паровоза, светились перед ними.

Пассажиры сидели и лежали на длинных дубовых, коричневых, костлявых скамьях с гербом НКПС на высоких спинках, некоторые спали, другие ужинали, разложив на чемоданах пропитание, третьи просто ничего не делали, оцепенело ждали.

Над спящими детьми колыхались на ниточках разноцветные воздушные шары, массы воздушных шаров, красных, синих, зеленых по всему залу. Казалось, это сны детей. И почему-то было очень много бубликов, почти у каждого второго гирлянда бубликов, и еще авоськи с оранжевыми апельсинами, а в мешках угадывались белые батоны.

В зале стояло сдержанное жужжание ночных разговоров, окна звенели и вибрировали.

Между скамьями медленно прохаживался сержант милиции, коренастый, с сильными плечевыми мышцами мужичок, в новой, синей, аккуратной шинельке, упакованный в новенькие желтые ремни, в зеркально начищенных сапожках, с молодым, монгольского типа бдительно-напряженным лицом, не выдерживающим ответственности. Он пронзительно вглядывался в лица пассажиров. Некоторые простодушно, как кролики, смотрели прямо в его глаза, другие отворачивались, а иногда сержант время от времени останавливался и гипнотизировал кого-то специально им избранного, узнал ли он его по словесному портрету, или показался ему подозрительным, или просто решил проверить, поджарить на раскаленной сковородке подозрения. Теперь он это делал с безруким инвалидом в старой, как бы ржавой, продымленной шинели с подвернутым рукавом и в такой же старой ржавой цигейковой шапке. Инвалид не обращал на него внимания и крутил единственной рукой сигарку, заклеил ее языком, потом, прижав обрубком коробок, зажег спичку, закуривая, запыхтел, пустил густое облако дыма, которое не рассеивалось долго, как бы не желая расставаться с владельцем, стояло над ним, а он все так же и не думал обращать внимания на упрямо стоящего и гипнотизирующего сержанта, чихая на его гипноз, на его интерес, на его

лычки, на его новенькие желтые ремни и кобуру с пистолетом, на его начищенные и переначищенные сапожки, на все его подозрение и бдительность, покурил и покурил, с наслаждением пыхтя и пуская вверх дым, который стоял уже туманом над ним, пока сержант, не нарушив своего гранитного спокойствия, сказал:

— Куда едешь?

— Куда надо, туда еду.

— Документы!

Инвалид докурив сигарку, послонявил окурочок, зажал в кулак, спрятал в карман, неторопливо полез единственной рукой за пазуху и вынул какую-то тряпку, развернул тряпку и достал оттуда мятые и перемятые серые бумажки. И глаза его глядели равнодушно и печально, глаза, притерпевшиеся ко всему, что могло бы случиться.

Сержант читал серую бумажку долго, внимательно и напряженно, как бы запоминая наизусть каждую букву, потом перевернул — нет ли чего на обороте, сложил ее вчетверо и вернул инвалиду.

— Что, правильно, начальник? — спросил инвалид. Сержант, не отвечая ни слова, повернулся и пошел по проходу между протянутых ног, храпящих тел, в вокзальном дыму и смраде.

Инвалид завернул бумагу в тряпку, вздохнул, запихал тряпку назад за пазуху, сел на свое место, уставившись в одну точку своими равнодушными, притерпевшимися глазами.

Теперь сержант взглянул на меня, но мельком, словно проколол и пропустил. И прошел дальше.

— Цыц, вот я тебя милиционеру отдам, — сказала баба проснувшемуся ребенку. И тот замолк, завороченно глядя на синий сон с малиновыми кантами.

Глава восемнадцатая

У теплой вентиляционной решетки метро стояла и грелась замерзшая девчушка в меховой жакетке и туфельках на микропорке, худенькая, с охальным курносым личиком, кукольно-порочным, зеленоглазая, замерзшая и веселая, продувная. Она дерзко-небрежно поглядывала на проходящих командировочных пузачей с разбухшими портфелями, разных там пижонистых чуваков, фыркала и вдруг кому-то молодому и симпатичному ликующе выдавала нежную, детскую улыбочку.

Она посмотрела на меня и как-то удивленно повела бровями, словно передала таинственный знак.

Я замедлил шаг, взглянул на часы и остановился, серьезно и озабоченно поглядел в широкое окно на улицу, будто ожидая кого-то, будто кто-то обязательно вот-вот должен подойти.

Это была одна из тех блуждающих девчонок, из того сиротского, горького легиона приезжающих зайцем и по билетам с плацкартой для поступления в кинозвезды, из которых бедные непризнанные художники подбирают натурщиц-любовниц.

Нет у них ни жилья, ни прописки, а иногда еще и паспорта нет, одна метрика. И ночуют они у случайных подруг, у случайных старушек в каморках лифтерш и татардворников, а то, бывает, и просто у прохожего мужчины, а иногда и на лестничной клетке, на самой верхотуре, где и квартир нет, лишь глухой проход на чердак.

Замечено, что подбираются они обычно по росту и меняются туалетами. Смотришь, жакетик или юбочка из пледа с бахромой, или бронзовая лошадка на цепи то на одной, то на другой.

По утрам они собирались обычно скопом из разных районов города, где они продремали эту ночь, кроме тех, которые как раз в это утро были вызваны в киностудию открыткой, или шли по объявлению или личному приглашению случайно встреченного режиссера, или оператора, или директора, или ассистента, или осветителя, или просто случайного жулика, кроме тех, которые именно в это утро восседали на троне где-то в Сретенском переулке, или на Масловке, или в Измайлове, обнаженные, дрожа от холода, позируя художнику или измазанному гипсом или глиной скульптору, который по молодости лет, увлечению и горячке работы не замечал холода; кроме тех, которые в это утро толпились у дверей отдела кадров ЦУМа, или Дома моделей на Кузнецком, или же на актерской бирже на Неглинной, в этой шумной, дикой суতোлке, нанимаясь в советские герлс, в дикие мюзик-холлы, левые джазы, снегурочки, в Кимры, Арзамас, Чарджоу. Так вот остальные собирались ранним утром скопом на заранее уже договоренном месте, на Центральном телеграфе или Центральном почтамте на Кирова, или в какой-нибудь пирожковой или пельменной на Петровке, где было тепло, и, собравшись и сложив выбранную, выкарабканную из всех карманов мелочь серебром, а иные даже бумажками, складывались, и пили чай с горячими пирожками, и рассуждали, и советовались, и планировали, как и где им провести сегодня день, и тут же в туалетной менялись кофточками и туфлями или джемпером.

Потом забегают в коммиссионку, хотя в сумочках только пачка «Шипки» и коробочка спичек, а вечерами сидят в коктейль-холле высоко на вертящемся табурете, заложив ногу за ногу, с сигареткой в зубах, сосут из соломки зеленоватый, с плавающим желтком, коктейль и рассуждают:

— Я утончила ему образ.

— А мне завтра лицо нести, — грустно отвечает другая.

Ночью их никогда нельзя было встретить вместе, в одной компании. Они разбредались по всему городу, правда, главным образом в пределах Садовой, где в коммунальных квартирах, в комнатухах жили эти художники, режиссеры, опереточные актеры, адвокаты, либреттисты, танцоры, авторы скетчей, скульпторы, юрисконсульты, синхронные переводчики, люди свободных профессий, старые и молодые холостяки.

Я все смотрел в окно. Хлопьями падал снег, на тротуаре было пусто и дико, я искоса осторожно поглядел на девчурку, и она, как бы уже готовая к этому, как бы заранее все разыграв в своей душе, откровенно и весело улыбнулась: «И никого ты не ждешь, скорее иди сюда, поговорим, мне ведь тоже одиноко и тошно».

Я понял и той же азбукой Морзе передал: «Иду». И двинулся, как на свет светлячка.

— Здравствуйте, добрый вечер, — сказал я.

— Приветик, — ответила девчурка.

Подтаявшие, мокрые от снега ресницы потекли черным, и, глядя в зеркальце, она сделала маленький ремонт.

— Греемся? — сказал я.

— Ага.

Она вынула из кармана пару карамелек, одну кинула в рот, другую дала мне.

— Долгоиграющая, — сказала она.

Стекляшка была мятная, холодная и долго не таяла во рту.

— Как вас зовут? — спросил я.

— А вас?

Я сказал.

— А мое имя есть в опере «Евгений Онегин». Угадайте.

— Татьяна?

- Молодец, — удивилась она.
- А где вы, Танюша, живете? — спросил я.
- Любовник, мерзавец, женился, — беззлобно сказала она и рассмеялась.
- А где же вы ночевать будете?
- А вы живете один? — спросила она.

В пустынном вестибюле метро неожиданно появился какой-то белый от снега ферт в шапке «пирожком». Он сразу же, с ходу не понравился мне (только отчего шапка-«пирожок», они ведь все ходят в ушанках, а может, этот высшего разряда?).

Мокрый снежный ферт крупными деятельными шагами прошел к телефону-автомату, закрылся в будке и стал набирать какой-то номер. Он звонил ужасно долго, но ни разу не говорил. Я хорошо видел, что он даже ни разу не открывал рта, бросал монету, набирал номер, но то ли было занято, то ли просто не отвечали, вешал трубку и тут же начинал все сначала. И почему-то все казалось, что поверх диска он глядит в нашу сторону.

- Чего ему от нас надо? — сказал я.
- Плевать, — сказала Таня.

Она нагнулась и, поправляя чулок, неловко, как бы случайно чуть выше приподняла юбочку, и над чулком синела голубая накладка: «Как мало прожито годов, как много сделано ошибок».

- Может, это за тобой? — спросил я.
- Она пожалала плечиками и рассмеялась:
- А я не боюсь.

Ах, если бы и я мог так же нахально, щебечуще, отвлеченно сказать: «Я не боюсь».

Нет, я боялся, я очень боялся, и все, вызванное случайной встречей, радостное возбуждение, вернувшее меня на миг в тот давний, привычный и уютно-веселый мир легкомысленной жизни, сразу остыло и растаяло, и осталась только эта круглая, уже ненавистная физиономия за стеклом автомата, как заведенная кукла, непрерывно крутившая диск.

- Ну, однако, я пошел, — сказал я.
- Куда? — удивилась Таня. — И зачем?
- Надо.

Я сбежал вниз в метро и в конце коридора еще раз оглянулся, не увязался ли за мной ферт в «пирожке».

На самом ли деле ему надо было так экстренно ночью звонить и он не мог дозвониться и нервничал там, в кабине, или он просто разыгрывал комедию и ждал меня или же ждал ее, пока она освободится, пока я с ней договорюсь или не договорюсь, пока я не надоем ей и она увидит, что с меня нет никакого толка, и обратит внимание на него. И для этого он поворачивался там в кабине, показывал анфас и профиль свой каракулевый «пирожок». Интересно, что было, когда я ушел, улыбнулась ли она ему той же улыбкой и глядела на него теми же родственными глазами, что и на меня, тут же начисто, навсегда забыв о моем существовании.

Метро уносило меня вдаль, за окном только вспыхивали, гасли и пропадали туннельные огни, и поезд останавливался, кто-то входил, и кто-то выходил, и проплывали освещенные платформы, белый и красный мрамор.

В метро непонятно каким образом залетел воробей и проник на платформу. Это был обыкновенный серый городской воробушек, испуганно-взъерошенный, несчастный, и дежурный в красной фуражке гикал на него и гонял сигнальной указкой, словно он грозил крушением поездов. А воробушек юрко и ловко летал между мраморными колоннами с прислонившимися к ним скульптурными символами современного

общества. Испуганный, взлохмаченный, он сел сначала на фонарь шахтера, потом перелетел на круглую шляпу сталевара, потом сел на автомат пограничника, потом спрятался за собакой партизана. Пассажиры, останавливаясь, наблюдали затейливую эту охоту. Воробушек взвился наконец вверх и долго бился о каменные своды и не мог, никак не мог найти выхода в синее небо.

Я оглянулся, и вдруг бросилось в глаза чье-то внимательно глядящее на меня лицо. Так оно было или только казалось, снова я заметался, я зашел за колонну и обождал, не появится ли он, не ждет ли он меня. Потом я сел в ненужный мне поезд.

Я забрел пустыми коленчатыми переходами куда-то в странное место. Вокруг не было ни одного человека. Только мраморные колонны и за ними бесконечный мраморный коридор с голубым жужжащим светом. Неизвестно откуда подул холодным, мертвым ветром, как из мраморного саркофага. И вдруг меня охватило чувство конца, чувство обреченности. Я поднял глаза и прочитал: «Входа нет», «Выхода нет».

Я рванулся назад, к эскалаторам. Они уже не работали. Я побежал вверх, туда, к синему свету. Я бежал и выбирался, как из колодца.

Там, наверну, стоял милиционер в толстой синей шинели. Он взглянул на меня, пошел открывать тяжелую входную дверь.

Я вышел на незнакомую, сумрачно освещенную площадь и увидел несущиеся по небу рваные, темные, хищные облака и глубоко вздохнул.

Как тоскливы эти дома, эти далекие, чужие мне дома, и этот перекресток, и вся эта жизнь, ничего не знающая обо мне и о которой я ничего не знаю.

Я сел в троллейбус. Машина катила незнакомыми улицами и остановилась в темном, забытом и глухом переулке. Вот тут я сойду. Я кинулся к двери, и вдруг мне показалось, кто-то ждет меня в нише возле дома, кто-то стоит, прижавшись спиной к стене в тени ниши, и ждет меня. И я отпрыгнул назад так неожиданно, что дверь захлопнулась перед самым лицом, и вожатый сердито оглянулся, и пассажиры усмехнулись: «Спать не надо». Сердце колотилось как барабан. Откуда же он мог знать, что я решил сойти именно на этой остановке? Или они ожидают на всех остановках? И они все знают наперед, все на свете, то, чего ты сам еще про себя не знаешь?

После этого я долго тихо сидел в углу троллейбуса и не смел сойти. Проплывали мимо загадочные ночные улицы, троллейбус много раз останавливался, заворачивал, катил мимо каких-то длинных фабричных корпусов. Люди выходили и входили, и я внимательно разглядывал их. Мелькали освещенные витрины, темные, серые спящие кварталы.

И уже кажется, что троллейбус заблудился, без цели петлял, летела улица, и улица слилась в один дом, туманный, словно разворачивался серый каменный свиток, бесконечный, безнадежный, скупой тусклый свет, немота и убаюкивающий, терпеливый сон, в который проникали сигналы, щелканье переключателя и мягкий, осторожный шорох растворяемых и затворяемых дверей.

Когда я очнулся, бежала темная лента Москвы-реки с клочьями тумана над черной водой. У каменного парапета, впаянный в береговой лед, стоял ресторан «Чайка», светя тройным огнем сквозь замерзшие стекла узких окошечек. И на миг оглушила малохольная музыка ресторанного джаза. А на том берегу открывался вольный заснеженный лес Воробьевых гор, и, как всегда, потянуло туда жить, и подумалось, как душно, как ужасно, как порочно жить в каменных ущельях города.

На какой-то остановке троллейбус опустел, и я остался один. И тут мне показалось, что кондуктор с сумкой на плече, притворяющийся спящим, на самом деле внимательно, из-под фальшиво прикрытых век наблюдает за мной. Я поднялся и пошел к выходу, стараясь не встречаться с взглядом фальшивого кондуктора. И тут я вдруг заметил, что водитель, вертя баранку, глядит в зеркальце над собой и тоже очень внима-

тельно следит за моим продвижением к выходу. Мимо бежали дома-призраки, кондуктор и вожатый сговорились и везут меня по определенному маршруту куда надо.

Кружится, кружится троллейбус, поворачивается, как на шарнирах, входит в глухоту ночных улиц, таких пустынных, печальных, словно это не дома, а мавзолеи, надгробья, и вдруг площадь, взрыв огня, вспышка неоновых светов, яркая цветная городская карусель, но тоже безлюдная, грустная, бессмысленная.

Я стоял у выхода и ждал.

А троллейбус безостановочно летел вдоль длинной, бесконечной улицы, увозя меня, слышалось только ширканье шин.

Неожиданно в машине погас свет, и улица, словно срезанная, словно взорванная, отрывается, и мягко летит навстречу открытое темное поле, с рассыпанными звездами, и троллейбус, огибая снежный сквер, внезапно останавливается.

— Ко-ня-ячная остановка, — гундосо говорит кондуктор и окончательно засыпает в своем кожаном кресле с билетной сумкой на груди.

Я вышел. Было пусто и грустно, как только может быть на конечной остановке.

Я пошел по чужой и ненужной мне улице, мимо чужих и ненужных домов, куда-то в даль, ничего не обещающую.

Все дома были похожие друг на друга, серые, тошнотные, и запах исходил от них казарменный, помойный. И только в одном доме на высоком этаже светило единственное окно, как воспаленный глаз. И казалось, он следил за мной, куда я, туда и он, и некуда было деться от него, ни во тьму, ни в тень, ни за угол. Он проглядывал эту матерую, эту пропащую ночь там, на окраине, где я был не нужен, случаен, неприемлем.

А зачем я оказался на этом чужом, пустом метельном поле...

Глава девятнадцатая

Кафе «Националь» светило большими и яркими веселыми окнами сквозь падающий снег. Теперь кафе было открыто до трех часов ночи. Это сохранилось еще со времен коммерческих ресторанов, когда Сталин дал вдруг волю ресторанному веселью.

Бывало, в полночь и даже после, если не спалось, я вдруг вставал, одевался и ездил на метро, а если метро уже было закрыто — на ночном троллейбусе или пешком приходил сюда и словно во сне попадал в пьяную комедию, и острое чувство существования жизни вне зависимости от тебя, от того, что ты делаешь, спишь или бодрствуешь, завораживало и озадачивало.

Знакомый швейцар поприветствовал меня, не удивляясь, а я сделал утомленный вид, будто только с ночного ответственного заседания.

В кафе свет был притушен, и в полумраке, в бликах вертящегося на потолке зеркального шара, крутились в вальсе пары. Они проплывали мимо, а я будто подымался из подземелья к веселому, своевольному мотивчику и легкой пустяшной жизни.

Глушивший меня страх как-то отошел, оттаял, будто я ехал на тихом велосипеде. Казалось, я видел страшный фильм, а теперь он кончился.

Все было как всегда. Ночная жизнь кафе шла своим чередом, по своим особым законам. Тут был тот, кто должен был быть в этот час. Ежевечерне одна и та же компания из шестимиллионного города отслаивалась, просеивалась и собиралась за этими столиками.

Это было время, когда все еще жили в пределах Садового кольца, в огромных коммунальных квартирах, и Сокол, или Сокольники, или Измайлово были дальними окраинами, а Воробьевы горы — подмосковной дачей.

Каждый вечер, зимой, часам к десяти-одиннадцати, а летом к полуночи, после гулянья по центру от памятника Долгорукому до гостиницы «Москва» и обратно, по той стороне, где «Арагви», коктейль-холл и кафе «Мороженое», которое после будет называться «Космос», каждый вечер тут собирались всегда одни и те же, и все знали друг друга, и только приходили, уже звали их к столикам из разных уютных, симпатичных уголков, одних или с девушками, постоянными или случайными, которых подцепили только что под светом фонаря у Центрального телеграфа, и потом до трех ночи, когда все компании перемешаются и непонятно, кто с кем, и окончательно это только выяснялось, когда тушили главную люстру, оркестр играл отходную, а потом тушили и остальные люстры, и уже в сумерках между опустевшими столиками уходили последние, и ясно и резко было видно, кто с кем уходит окончательно. Неважно, совсем забыто было, кто с кем пришел, это было до, до Вавилонского столпотворения, до потопа, до выяснения отношений, и теперь смешно и нелепо.

Я и сам иногда, больше всего летом, ходил в эти компании, в эти быстро составляющиеся и так же быстро распадающиеся междусобойчики, а иногда и сабантуи с шампанским, с цыплятами табака, с ананасами. Но скорее я грелся возле них, не кипел кипятком их страстей и интриг, слухов, и переживаний, и катастроф момента. То ли я был нелюдим и слишком одинок и не мог напрасно на всю катушку нервов сходиться с людьми, то ли было слишком скучно и вяло насыщаться одним и тем же, но никогда я не входил в компании крепко, как застрявший нож, а к тому же я еще и не пил так, чтобы забыть все на свете, кроме того, что мельтешит перед глазами в этот миг. И теперь, когда явился вдруг ночью к концу, все уже были на взводе или вовсе пьяны и растворены в этой сиюминутной жизни, словно надышались веселящего газа, и никто меня в тумане и не заметил, и не позвал к себе, и я сел в дальнем свободном углу за столик один.

И странно и невозможно было представить себя в компании. Неужели и я когда-то занимался этим, и это имело для меня значение, и, бывало, за столиком я обижался и ликовал, и полон был мелкого тщеславия и целевых мыслей.

Никто из сидящих тут не знал и не догадывался, что со мной случилось. А я из той, как бы потусторонней жизни наблюдал их, муки пережитого обострили мое зрение. И с остротой и проникновением уже умершего, с того света, я видел и прозревал, и понимал, чего каждый из них на самом деле стоит.

Здесь был некогда знаменитый, раздавленный жизнью и официальной критикой писатель с серой гривой, похожий на больного льва. Тихо и сердито, сидя за еженощной рюмкой коньяка, уже подшофе, он говорил афоризмами, вокруг него теснились почитатели, прилебатели, а он глубоким, как львиный рык, голосом рассказывал им байки. Рядом сидел друг его детства по южному городу, человек, известный под именем «брат антрепренера Карузо». Этот не слушал своего идола, весь был занят поеданием оставшейся на столе от веселой компании куриной котлетки и еще икры. Придвинув к себе блюдечко, он ножом на тоненьком-тонюсеньком ломтике хлеба размазывал икринки и с тихой жадностью поедал, весь отдавшись процессу сосания. До него не доходило ни одно остроумное положение, ни один софизм, ни одна хохма, на лице его было написано тихое наслаждение, и он только про себя шептал: «Нет, никто так не любит икру, как я люблю», — и крутил головой. Съев икру, он задремал, привалившись к спинке стула, и бог весть что ему снилось: градоначальник Одессы Дюк Ришелье или участковый уполномоченный, потому что он потерял паспорт и вот уже год боялся об этом заявить. Был ли он действительно братом антрепренера Карузо, и был ли его брат антрепренером Карузо, никто этого не знал, но так его звали.

Тут же сидел и жадно все слушал миниатюрный, с кукольно-пугливым личиком, скромный инженерик, приезжавший на собственном «Москвиче», гениальный созда-

тель трикотажной фабрички при сумасшедшем доме Краснопресненского района с использованием амортизированных станков, «левой» вискозы и дарового труда малохолельных, которым была прописана трудотерапия, призрачного теневого предприятия, не зарегистрированного ни в одном титульном списке и финансовом органе, подпольный миллионер, более ловкий и жизненный, чем Корейко и Остап Бендер, портрет которого через несколько лет был напечатан в центральном органе как разыскиваемого опасного преступника и который в конце концов был захвачен в импортном платяном шкафу, где для него построено было ложное отделение с дырочками для дыхания.

Был еще налитый коньяком всех марок и звездочек, известный под именем Валентин-коньячный, бродячий скульптор, член МОСХа, разъезжавший со своей левой бригадой, шарашкой, по национальным республикам, изготавливая по шаблону высокохудожественные и высокоидейные статуи, бюсты, барельефы и горельефы Генералиссимуса, а кроме того, еще скульптурные портреты местных дважды Героев Соцтруда — чаеводов, хлопководов и свекловодов. В одном северном совхозе герой приходил к своей собственной статуе на центральной усадьбе и плакал, жалуясь своему изображению на обиды действительные и мнимые, и однажды заснул, и во сне умер от разрыва сердца, и потом его хоронили с музыкой, и у бронзового бюста говорили речи, что он навсегда сохранится в памяти и сердце, а он лежал со строгим лицом и недовольно слушал речи.

Был тут и человек с греческим профилем, уроженец «русского Марселя», сосед Мишки Япончика с Молдаванки, по прозвищу «мацонщик», юнгой объездивший весь мир и дравшийся в кабаках Антверпена, Сингапура и Буэнос-Айреса, говорящий на арго и знавший двенадцать языков. Он медленно и серьезно поедал свой диетический судак по-польски, запивая «Ессентуками № 17», и гнусавым восторженным голосом рассказывал своим слушателям, оглохшим и обалдевшим от его баек, о своем последнем открытии сюртука Пушкина. А потом он им наизусть читал сцены из своей пьесы, где главными действующими лицами были знаки препинания: запятые, точки, двоеточия и тире, восклицательные и вопросительные знаки, многоточия и скобки, и кавычки — и которая называлась «Чернильные человечки».

Отдельно, за угловым столиком, на одном и том же, постоянно абонированном месте роскошно сидел Тим Тимыч, комфортный мужчина в модном твидовом пиджаке, в белейшей и редчайшей в те времена нейлоновой рубашке с широким цветным галстуком в полоску и манжетами с фальшивыми бриллиантовыми запонками. Он поедал шницель по-министерски и говорил чарующим голосом. Рядом с ним скучно, задумчиво пил даровую чашечку кофе некогда модный, но давно вышедший в тираж сценарист, основоположник эмоционального кино, который был должен деньги всем сидевшим в кафе, и метрдотелю, и официанткам, и буфетчицам, и служителю туалета. Нынче ночью он с Тим Тимычем договаривался о соавторстве. Тим Тимыч выплачивает ему аванс, не очень жирный, но достаточный, чтобы обедать и ужинать без коньяка, а зачинатель эмоционального кино за месяц напишет пьесу на актуальную, злободневную тему с двумя действующими лицами, с тем, чтобы ее могли поставить все театры. Основоположник предлагал Тим Тимычу даже одно действующее лицо, а выпив коньяку, сделал предложение даже о половине действующего лица, чтобы было только туловище, а ног не было видно. Тим Тимыч надеялся в итоге этой пьесы стать членом группкома драматургов, где сумеет получить справку и с не меньшим правом, чем некоторые знаменитые драматурги, занимавшие поденщиков, будет ходить на собрания секции драматургов, а может, получит за пьесу Сталинскую премию хотя бы третьей степени, и, размечтавшись и развеселившись проектами, Тим Тимыч заказал основоположнику тоже шницель по-министерски с яблочными пончиками.

Здесь же был и некогда многообещающий молодой писатель, создатель телеграфного стиля, четверть века назад написавший, что море пахнет арбузом, который с тех пор уже больше ничего не писал, но ежедневно играл в писательском клубе в бильярд, и выигрывал и пирамидку, и американку, и этим имел пропитание. Но с тех пор, как он написал, что море пахнет арбузом, у него сохранилась язвительная, высокомерная к остальным метафорам и сравнениям улыбка, и он никак не мог прогнать ее с лица. Он так давно и упорно ее изображал, что со временем она застыла в мучительную маску, и теперь просто казалось, что у него болят зубы или, может, воспаление желчного пузыря.

Ходил сюда и молодой, официально не признанный скульптор, похожий на борца, говорят, сработавший гениальные скульптуры, которые никто не принимал на выставку и даже не хотел смотреть.

Недавно он получил заказ на горельеф по проекту реконструкции крематория и сделал эскиз: мертвый юноша, и вокруг стоят скорбные, плачущие люди, лишь одно дитя на руках матери смеется и, ликуя, срывает яблоко на яблоньке, выросшей из сердца умершего юноши, и вокруг летают голуби, ветвистые бегут олени, плывут сказочные рыбы, сияет солнце, жизнь продолжается ...

Директора крематория только назначили на этот пост, до этого он был административным полковником, ушел в отставку на пенсию, и вот его перебросили сюда, и сначала он был недоволен, а теперь ничего, привык, работа как всякая другая, не лучше и не хуже: «Выдача праха от 9 до 4», «Перерыв на обед от 2 до 3».

Директор просмотрел эскиз, и он ему не понравился.

— Безыдейно, — сказал он.

— Как раз наоборот, — сказал скульптор, — идея вечной жизни.

— Слышь-ка, — сказал директор-полковник доверительно, — ты ведь наш человек, ты воевал, слышь-ка, сидел, ты наш человек. Зачем ты крутишь, ну зачем выпендриваешься?

Скульптор ответил:

— Слушай, ты в этом мало смыслишь, ты лучше больше и чище жги.

— Аудиенция окончена, — обиделся полковник.

Через несколько дней скульптора вызвали на заседание, и директор объявил официально:

— Вот, товарищ, мы тут просмотрели ваш эскизик, посоветовались и коллегиально решили: много у вас пессимизму, пессимизму много, понимаете? А нам что надо? Нам надо людей на трудовой подвиг поднимать!

Вообще это место посещали только прорабатываемые, а те, кто прорабатывал, сюда, как правило, не заходили. Те собирались на загородной даче или на специально нанятой для этого квартире, и у них даже был свой казначей, собиравший взносы и вербовавший мессалин. Лишь главный их теоретик с щеками, как румяные пончики, иногда заходил сюда, всегда в одиночестве, выпивал свои ежедневные триста граммов, закусывая китайской сигаретой, и потом на вешалке, вручая номер, говорил: «Подготовьте материалы для одевания».

Позже всех капризно вошел, капризно сел Эгилий Сияльский, лощенный, червонный валет, с набриллиантиненными волосами, бархатными глазами мазурика, вечный мальчишка, несмотря на свои тридцать лет все еще ходивший в толстых капризных вундеркиндах. Некогда гадалка пророчила ему баснословное будущее, и, когда он еще учился в школе, мама ежедневно выдавала ему премию за гулянье — пирожное эклер за дорогу от памятника Гоголю до памятника Пушкину. Он немного знал по-французски и всегда ходил с номером «Пари-матч», немного боксировал, немного играл в пинг-понг, умел на фортепиано, несколько раз участвовал в киномассовках, однажды

даже написал брошюру к Сталинской премии. Он был знаком со всеми знаменитостями, знал все личные и общественные истории, переходил от столика к столику, присаживаясь, рассказывая новости и старые анекдоты и сам слушал новости и старые анекдоты и наконец присел к двум девчонкам и, приподняв широкие темные брови, с повышенной миной стал рассуждать.

Подошла официантка и спросила: «Что тебе, Эгилий?»

— Болгарские сигареты и две коробки спичек, — капризно кивнул он.

— О, Эгилий шикает сегодня, — сказала одна из девчонок.

— Еще бананы, — сказала вторая.

Эгилий сделал гримасу.

— Знаете, на что они похожи? На подмороженную картошку, popryskannую одеколоном.

А я даже напиться не мог. Другие напиваются в таких случаях, и им хорошо, на один вечер хорошо.

На следующий вечер они снова напиваются, и им снова хорошо. И так они делают каждый вечер, они все время во взведенном состоянии, и им всегда хорошо.

Меня мутило после второй рюмки, и ничто не заглушало, а было еще хуже. Я даже не пробовал напиваться, а только глядел, как это делали другие. И меня воротило даже от этого зрелища.

Вдруг опять повторилось то же самое, что в троллейбусе. Я заметил, что флейтист, наигрывая на своей флейте, глядит прямо на меня. Я стал увиливать от его взгляда, я закурил, я наливал воду в бокал, пил, глядел в сторону на танцующих, кому-то даже подмигивал, но когда как бы случайно взглядывал на флейтиста, он все не отводил от меня намертво уцепившегося за меня взгляда. И беспокойство охватило меня, и все подмывало встать и уйти. Я стал вспоминать, был ли он тут, когда я пришел. Но за это время флейтист стал смотреть совсем в другую сторону.

Сейчас я вдруг вспомнил, что весь день ничего не ел. Никто не подходил к столику и, когда я спрашивал: «Кто здесь обслуживает?» — на ходу отвечали: «Сейчас подойдут». Когда я снова спрашивал: «Где же официантка?» — отвечали: «Мало ли куда она могла пойти, она же человек».

И только когда потушили главную люстру и в наступившем сумраке оркестр стал собираться, подошел краснолицый официант-мужчина, на ходу жуя.

— Долго же вас не было, — сказал я.

— А что, я уже покушать не могу?

От него разлило коньяком, портвейном, перцовкой, всем букетом недопитого дармового ерша.

Официант сунул мне в руки меню, но там была только карта вин. Потом он пошел куда-то, долго его не было, и, все жуя, принес меню.

— Только холодное. Кухня закрыта.

— А что есть холодное?

— Все есть.

— Ну, дайте балык, — сказал я, читая меню.

— Балыка нет.

— Тогда осетрину с хреном.

— Осетрина кончилась.

— А что есть?

— Все есть.

— Тогда лососину.

— Кета есть, — сказал он.

— Дайте кету.

- Все? — спросил он и махнул в воздухе салфеткой.
- Еще кофе по-турецки.
- Кофеварка ушла.
- Тогда чай.
- Не бывает.
- Боржом.
- Эссендуки номер семнадцать, — твердо сказал официант.
- Хоть двадцать семь.
- Двадцать семь нет. — Он поджал губы. — Семнадцать.

Официант снова разгильдяйски махнул в воздухе салфеткой, и пошел разнузданной, развинченной походкой эквилибриста, и исчез на кухне.

На эстраде музыканты, шумно разговаривая, собирались домой, пианистка со стуком закрыла крышку рояля и стала рыться в своей авоське, стоявшей под роялем, скрипач спрятал скрипку в футляр и одновременно что-то жевал, ударник собрал свои колотушки, треугольнички, спрятал в деревянный ящик и закрыл на висячий замок.

Мимо замерзших окон проходили тени.

Когда официант принес порцию кеты, все скатерти уже были убраны, стулья опрокинуты и поставлены на столы, из кухни потянулись повара, мойщицы с тяжелыми авоськами, процессию завершал кухонный мужик, тоже с полной авоськой.

На вешалке висело только одно мое пальто, гардеробщик снял свою фуражку с позументом и, стоя в синей шевиотовой кепке, поджидал меня, и я его не узнал.

Он взял номерок, выдал пальто, пошел со мной к закрытой двери, отодвинул задвижку, выпустил меня. Я услышал, как он снова закрыл задвижку.

Ветер кинул мне в лицо ворох холодного колючего снега, я жадно вдохнул свежий, какой-то таинственный воздух ночного города и пошел вверх по улице Горького к Центральному телеграфу.

В пустынном и сумеречном операционном зале несколько одиноких печальных фигур писали у конторок письма и телеграммы, и непонятно было, что пригнало их в этот поздний час сюда: несчастный случай, раскаяние, ужас одиночества, желание исповеди.

Я подошел к окошку, и тоже взял телеграфный бланк, и пошел к конторке, на которой лежали тонкие замызганные ручки с испорченными перьями. Кому бы послать ночную телеграмму? Кому бы протелеграфировать свой крик, свою тоску, господи боже мой!

Я тихо положил ручку, оставив чистый бланк на закапанной чернилами конторке, и ушел.

Во всей огромной стране, на всей земле от Батуми до Чукотки, казалось, негде было скрыться, спрятаться. Я мог бы уехать к сестрам, ведь у меня были четыре сестры в разных городах, но в многочисленных анкетах в отделе кадров записаны все их адреса, и меня тотчас же найдут.

Или вот родственники. Но у меня не было родственников, то есть, наверно, они были, и дяди, и тети, и двоюродные и троюродные братья и сестры, которые, наверно, уже выросли, у которых были уже, наверно, взрослые дети, но большинство их я никогда не знал, а если и знал, то давно забыл, давно не видел, не интересовался родственными отношениями, считал это отсталостью и шутил над этим. Судя по себе, мне казалось, что в стране вообще не осталось родственных связей, казалось, они были давно разорваны, рассечены, раздроблены сначала гражданской войной, когда брат шел на брата, а потом классовой борьбой, когда сын не отвечал за отца, когда сын доносил на отца, а потом многочисленными мобилизациями, эвакуациями, подрывом всех родовых устоев, и еще страхом. Страх разъединял кровных братьев и сестер, в серной

кислоте страха таяло и исчезало все — любовь, привязанность, благодарность, взаимная помощь, и выручка, и совесть. Да и кому я нужен был такой, в такое острое время классового напряжения.

Глава двадцатая

Жутко мне в этой ночи, в этих замерзших переулках с тусклыми мглистыми фонарями, старыми, ободранными до костей стенами, безмолвными окнами. Только теперь видно было, какой это старый, усталый город, все переживший, все претерпевший и упрямо и терпеливо переживающий и эту холодную, пустую, безнадежную ночь. А зачем? Разве не то же самое будет завтра, и послезавтра, и через год? И через десять лет будет такая же пустая, замерзшая, метельная ночь.

Внезапно я вышел на широкую, заснеженную площадь с замерзшим прудом. Я очистил скамейку от снега и сел под деревьями. Ветер шумел над головой. Мне казалось, падали звезды.

Пламя трещало и пробегало по торфяным болотам, то огонь медленно, тускло и мертво тлел, то вдруг, взрываясь, вспыхивал и рассыпался в ночи бенгальским фейерверком. Раскаленные берега горящих торфяников обнажались, изгибались, они похожи были на лежащие в графитовом море коралловые острова, которые от ветра колебались. Партизанские кони, привыкшие к зрелищу, бодро бежали сквозь дым и то выносили на ясный простор, то снова входили в дымовую завесу. Там, где огню уже нечем было гореть, земля лежала вся обугленная, в ядовитых, желтых и серых плешинах пожарищ.

Неживой, бледно-фиолетовый свет изредка заливал болото и потом медленно угасал, и снова наступала тьма и тишина.

Под Брестом он стоял со своей бригадой в лесу за железкой и за шоссейкой, как в девятом круге ада, вокруг на тысячу верст немцы и немцы, все забили немецкие дивизии, полевая жандармерия и СС, и гестапо, и лагеря.

В рассветном осеннем лесу низко стелился дым костров, и между деревьями ходили бородатые юноши с черными немецкими автоматами на груди.

Командир бригады Гоша, картинно красивый, юный, стройный, с белокурыми усами и зелеными жестокими глазами, жил в будане — лесном шалаше, как князек, с коврами на стенах, патефоном, личным самогонным аппаратом, личным поваром и любовницей-радишкой.

— Сбор! — приказал командир бригады. Зазвонили в рельсу. Из шалашей и землянок по всем тропинкам шли партизаны с винтовками, автоматами, пряча гранаты в карманы, застегиваясь на ходу, и скоро на поляне стоял строй разношерстный, разномастный и гудящий, готовый все услышать, и все принять, и все исполнить.

Гоша в ярко-зеленой, цвета весенней травы, фуражке пограничника, в мягких кавказских сапожках со шпорами, вышел вперед.

— Хмуренко!

— Есть, — лихо, весело ответили из рядов.

— Десять шагов вперед!

Из ряда вышел молодой парень, в черной кожанке, с незначительным мелкокоственным лицом, в картузе с красной лентой и почему-то уже без винтовки, и, отсчитав десять шагов, остановился. Все смотрели на его спину.

— Кругом! — скомандовал Гоша.

Парень повернулся и теперь стоял лицом к строю. Рядом с ним по бокам оказались два автоматчика и быстро сорвали с него пояс и выдернули звездочку из фуражки. И все так странно — поспешно и грубо, будто он мог протестовать или убежать.

Трудно сказать, в чем дело, но когда с военного снимают пояс, он уже не человек, он и сам не чувствует себя человеком, и никто уже не считает его за человека, он вне закона, и делать с ним можно все что угодно.

Хмуренко было лет двадцать пять, у него была черная лихая челка, мелкие черты лица.

В это время прибежал особист, худой, обугленный, словно сожженный в огне цыган.

— Допрос, — шепотом, одними губами, так, чтобы не слышали рядом, сказал он командиру бригады.

Гоша повернул к нему свое красивое, смелое лицо и внимательно, насмешливо взглянул на него.

— Потом.

— Когда потом? — спросил особист, чуть громче, настойчивее, и цыганские глаза его засияли.

— Там допросят, — сказал Гоша и, уже поворачиваясь к нему, показал на небо.

— Допрос, допрос, — надоедливо повторял начальник особого отдела, — как я оформлю?

— Спишется.

— Допрос, — жестко повторил цыган, и глаза его уже горели потусторонним огнем.

— Отставить! — сказал Гоша и выругался кратко.

Все произошло очень быстро.

— За мародерство, за оскорбление звания партизана расстрелять! — звонко прокричал Гоша.

Казалось, Хмуренко еще не понимал, в чем дело, он смотрел как-то жалко, даже чуть улыбался, будто ему поставили двойку и ему немножко стыдно.

Звякнули сразу несколько затворов, и три бойца подняли винтовки, а Хмуренко все еще стыдливо, жалко улыбался.

Он стоял у бесприютных кустов, один, и вокруг небо, облака и ветер, и три бойца целились в него.

Я отвернулся.

— Сто-ой! — дико закричали со стороны. — Там животина.

— Отставить, — сказал Гоша. Бойцы опустили винтовки.

Из кустов позади Хмуренко вышла лошадь.

Она вышла на подогнутых, слабых ногах, взглянула на происходившее и жалобно заржала.

Начальник штаба подбежал и хлыстом прогнал лошадь.

— Давайте, — сказал он. — Можно.

Бойцы снова подняли винтовки, а Хмуренко стоял, оглядываясь, чего-то все еще ждал, как бы до конца не понимая, что хотят с ним делать.

Три винтовочных выстрела слились в один, и Хмуренко упал, и лежал неудобно, подогнув под себя ногу, и стал похож на кучу старого тряпья.

Сразу же все молчаливой толпой окружили то, что лежало на земле, скрючившись, посиневшее, фиолетовое, будто вся кровь от удара выстрелов вскипела и застыла фиолетово.

Кто-то беспорядочно и поспешно начал стаскивать с него хромовые сапоги, еще один толчком перевернул его, и обыскал карманы, и вытащил какую-то перевязанную

резинкой пачку бумаг, письма, фотографии, и передал особисту, который, не глядя, спрятал их в карман, достали еще алюминиевую ложку, потом его потащили в кусты, там уже несколько партизан, стуча лопатами, рыли могилу, лопаты были в глине.

Партизаны, разговаривая, расходились в разные стороны.

Гоша зажег спичку и закурил трофейную сигарету.

— Ладно, спишется, не такое списывается.

Кому-то списывается, а ему, Гоше, юному, храброму, до безумия храброму, патриоту, неужели одна чепуховая жизнь не спишется.

— Ха! Что? Для себя это делаю? Для своей корысти? Для дела. Пример!

Мне стало как-то не по себе. Мне казалось, что он так же легко, для примера, может и меня расстрелять, и комиссара, и начальника особого отдела, и старика, и старуху, и ребенка, попа, пастуха...

Я огляделся. Вокруг мертво стояли дома, и это были странные, удивительные в своем соседстве дома, каменные барские палаты, приятные своей соразмерностью, и рядом тоскливые краснокирпичные доходные дома, закопченные копотью буржуек, и серая, голая, рациональная коробка Корбюзье постройки тридцатых годов, и новый мощный генеральский бетонный корпус с колоннами и башенками излишеств. На разных этажах окна то зажигались, то внезапно гасли, ночная таинственная жизнь, неизвестная мне и чужая, вспыхивала и гасла, вспыхивала и гасла, и это было похоже на азбуку Морзе, на точки и тире, тире и точки, будто огни города переговаривались между собой и что-то сообщали свое, сокровенное, уходящее в небытие. А некоторые окна стойко пылали всю ночь. Там пировали, или готовились к экзаменам, или, может, кто-то умирал, или уезжал навсегда и прощался, а может, это был обыск.

Как бесконечна ночь, когда не спишь, она длиннее всей жизни.

Я сидел на заснеженной скамейке в сквере неизвестно где. Города не было, и ночи не было, ничего не было. Какое-то безвоздушное, безвременное пространство. Что-то внутри истончилось, надломилось. Я исчерпал себя и больше не хотел думать, переживать, уклоняться.

Не было сил встать, пойти, и снег засыпал меня, и снова все ослепло и оглохло вокруг.

Пробежала мимо кошка, потом вернулась и остановилась передо мной. Черная кошка в снегу, с зелеными глазами. Ее зеленые глаза сверкали во тьме и молча что-то мне говорили. И мне вдруг показалось, что она приняла меня за кошку, которая только притворяется человеком. Я встал, и отряхнул снег, и пошел. Зеленые глаза долго и затаенно смотрели вслед.

Млечный Путь, пыля над городом, медленно двигался к рассвету, одинокий неоновый свет бесцельно мерцал и струился, алым сумраком окрашивая смежные крыши.

Я так устал, что уже ничего не чувствовал и будто бесплотной тенью двигался по тротуару, и было все равно, куда идти.

Неожиданный весенний ветерок, прилетевший откуда-то, принес запах оттепели, снеговой воды, ивовых веток, воли и всего того дорогого, что я некогда знал и от чего я уже отвык.

И мне вдруг представились тихие заснеженные улицы, желтые огоньки, кривые жестяные вывески и такая звонкая, такая свежая, великолепная глушь, что больно сжалось сердце. Неужели все это было в моей жизни? Неужели все это ушло навеки?

Улица стала медленно выходить из подводного царства, голубая и незнакомая, и дома стояли постные и как будто чего-то ожидали от меня. И словно течением вынесло меня на знакомую Арбатскую площадь, сквозь легкий с голубизной снежок, она была, как в сказке, очарованная в белом безмолвии рассвета.

Город расплывался, проступал сквозь легкий утренний снежно-голубой туман, и все было нереальным, и это утро в конце ночи, и прошедший день, и вся моя жизнь.

Это я, это я шел рассветающей, пустынной улицей, отражаясь в утренних витринах вместе с облаками, с погасшими фонарями, и это я вдыхал свежий утренний ветер. Я видел себя как бы со стороны.

Вдаль уходила улица Арбат, заснеженная, непроторенная, и лишь одни забытые фонари жили своей грустной, ночной, потерянной жизнью.

Еще не ходили троллейбусы, еще только появлялись из темных подъездов, из ворот те первые черные, робкие фигуры с авоськами, спешившие в очереди. И вот по улице проехал первый автобус, остановился на перекрестке, и из него с шутками и смехом выпрыгнуло несколько милиционеров в полушубках, а тот, кто стоял на посту в тулупе, влез в автобус, встреченный солеными шутками, крепкими словечками, смехом сидящих там, внутри, и автобус покатило дальше, и видно было, как он остановился на следующем перекрестке, и там так же выскочило несколько милиционеров, и автобус покатило дальше.

Дворники в белом, как ангелы, шли на меня, словно крыльями, размахивая метлами.

И еще эти странные горестные одиночки в бобрике и ботах маялись, и переступали с ноги на ногу в подворотнях, и курили папироски, у них были унылые и скучные лица, и в этот рассветный час они казались выставленными за дверь неверными мужьями.

Все они посматривали на меня, а мне уже было все равно. Теперь я уже ничего не боялся и нахально, с любопытством разглядывал их, и некоторые отворачивались и смотрели в другую сторону.

И вот уже снова зоомагазин, и золотые рыбки в оранжевой, светящейся воде среди зеленых и фиолетовых водорослей. Им было все равно — ночь или день, век девятнадцатый или двадцатый, хорошо или худо человечеству, они вели свою молчаливую, однообразную, свою безымянную тягостную малюсенькую жизнь.

Я постоял и посмотрел на них, и мне вдруг стало жаль их. Зачем они мелькают, куда они так стремятся, к чему суетятся, и чем все это в конце концов кончится?

Я прошел мимо витрины с часами. Очень много часов, все они показывали одно и то же время, в ожидании чего-то важного и неминуемого. Потом была старая арбатская аптека, беспокойный, тревожный сумрак дежурки с красными энергичными резиновыми грушами клистиров в витрине.

Вот и серый наш дом, спокойный, будто ничего не случилось. Такой же он был и ночью, и давно в революцию, и в нэп, и в 1937-м, и в войну, живущий отдельно, независимо от судеб людей, населяющих его. Сейчас, на рассвете, особенно ясно было видно, что он каменный, нерушимый, равнодушный и не хочет, и не желает ничего о них знать.

Замёрзший, умерший дом был мне дико чужд. Если бы было куда уйти, я ушел бы и никогда сюда не вернулся.

Я зашел с противоположного тротуара и взглянул на мое окно, залитое темной водой. Казалось, кто-то таится там и ждет.

Пошел снежок, но уже не метельный, злой, колючий, а тихий, пушистый, нежный, как в детстве, как в сказке. И стало вдруг хорошо и спокойно. Я остановился и стал глядеть на этот волшебный снег, на рассветающее, дымящееся небо. Я снял шапку, и так стоял под снегом, отдыхая от тревог, от страха, от мятущейся этой ночи, и клялся, клялся, и клялся, если все на этот раз обойдется, то жить, жить, жить каждой минутой, каждой секундой, каждым мигом быстротекущего, прекрасного, великого и вечного времени.

Вспыхнул свет в окне Свизляка, яркий, режущий, и мое окно тоже стало белесым. Это как-то успокоило меня. Я пересек улицу, и вошел во двор, и увидел чьи-то следы на свежем снегу.

Я медленно поднялся по черной железной лестнице, и она тяжело звенела ночным чулуном.

Это был тот единственный час, когда даже в коммунальной квартире было тихо, молчало радио, молчали все патефоны, спали все мясорубки, но все равно тишина казалась обманной, казалось, все наполнено гремучим газом, и стоит только зажечь спичку или крикнуть — все проснется, вспыхнет, и взорвется, и взлетит к чертовой матери.

Я тихо на цыпочках прошел мимо молчаливых дверей, я слышал храп, и стоны со сна, и шуршанье мышей.

Спал Свизляк, спал Голубев-Монаткин, видя во сне огромные, яркие девичьи глаза, спал чернявый, кудрявый айсорский табор, храпя, сопя, плача и колыбельно подвывая, торгуя и шельмуя во сне, чистя штiblеты, гадая на картах; спала неслышно Розалия Марковна, скакала на белом адмиральском коне и одновременно вышивала кошечек мулине; спало радио, нахрипевшись частушками, наплясавшись красноармейским ансамблем песни и пляски, намаявшись и наговорившись; спали огромные кастрюли и сковородки, спали цибуля и лимитный чеснок; спали незаконченные доносы в школьных тетрадках, оставив тени на промокашках; спали в старых шкатулках похоронки, пожелтевшие и полинявшие; спали совесть, и подлость, и любовь; не спал только страх, он бушевал во сне, он выстраивал эту кошмарную мозаику сна, и люди стонали и кричали со сна, и просыпались посреди ночи, и слышали, как течет время, и каялись.

Старуха Сорока еще не умерла, она была на кухне, суп ее доваривался, и тошнотворно клеевой чад вываренных рыбных костей залепил мне лицо, и стало трудно дышать.

Старуха поглядела на меня своими голубыми, выветрившимися глазками и ничего не сказала, непонятно даже, заметила ли она меня или просто обернулась на шум, руки ее были натруженные, опухшие, багровые, как рачьи клешни, и вся она похожа была на окорок.

Я прикрыл тяжелую кухонную дверь, потом открыл большим ключом дверь в темный коридорчик, маленьким французским ключиком еще одну дверь и вошел в комнату. Она ждала меня, она всегда ждала меня, она была до ужаса пустая и голая. Казалось, что-то происходило в ней, пока меня тут не было целую вечность, наверно, какие-то тени моей прошедшей тут жизни, эхо разговоров, отражения мои в зеркале жили в ней все это время и по-своему распоряжались без меня, а теперь с моим появлением все это заперло, улеглось, утихло.

Тошнотворный туман вывариваемых рыбных костей проник в комнату сквозь щели, сквозь замочную скважину, скопаясь в удушливое облако.

Было тихо, и покойническим светом горел фонарь у окна. Послышался близкий, а затем дальний бой часов. Незрячее, невидимое, удушливое облако стояло, и не уходило из комнаты, и душило меня. И не было на свете ничего, кроме этого облака.

Хорошо, что сейчас светает, что скоро подымет над крышами солнце и не будет так страшно, и, может, еще будет жизнь, завтра будет жизнь, во всяком случае, будем надеяться, надежда ведь единственное, что никто не может у нас отобрать. Надежда — это не иллюзия, иллюзия — это нечто совсем другое, призрачное, неверное, миражное, а надежда — это кремень. Так я сидел и уговаривал себя.

Теперь в совершенной ночной немоте я вдруг услышал, как, скрипя на блоках, отворилась внизу входная дверь и захлопнулась на тугой резине. Потом тишина и

ясно — шаги по чугунной лестнице. Нет, шагов я не слышал, это просто казалось, что я слышу их, и я считал «раз, два, три, четыре, пять»... Я досчитал до пятнадцати, тут кто-то вошел, уже был наверху и сейчас позвонит. Я прислушался, но звонка не было, а может, звонок испортился, тогда он должен сейчас постучать. Я снова прислушался, было тихо. Может, они стоят у дверей, у них отмычка, и они сейчас сами откроют дверь...

Глава последняя «ХРАНИТЬ ВЕЧНО»

Почти всю сознательную жизнь, с тех пор, как он себя помнит, преследовала его какая-то тайна, какая-то неизвестная, неузнанная вина, упрятанная где-то в серой именной его папке, которую он в жизни не видел и, наверное, никогда и не увидит.

Что это было: донос товарища на странице из ученической тетради, рапорт на официальном бланке или телеграмма с красным ведомственным штампом. Или, может, так только казалось, что вина одна, а на самом деле она непрерывно обновлялась и, высохшая, изжившая себя и ставшая уже смешной, тут же заменялась новой.

Неузнанная и скрытая вина эта незримо, путями с фельдъегерской скоростью следовала за ним из города в город, и каждый раз, когда только возникала его фамилия: шла ли речь о новой работе, о воинском звании, о награде, о льготе, о пропуске или заграничном паспорте, — тотчас же включалась тревожная морзянка.

И вина эта, неузнанная и небывшая, как собственная тень, все следовала за ним, и, не старея, перешла из юности в зрелые годы, в пожилые годы, и, наверное, сопровождает его в старость, наверное, в парадном мундире пойдет за его гробом в толпе, в зимней толпе среди темных пальто и цигейковых шапок, и остановится у края могилы, и не успокоится, пока не услышит стук о крышку гроба замерзших комьев земли, лишь тогда, вздохнув, уйдет и заснет в своей дьявольски серой бронированной папке «Хранить вечно» с фотографией, на которой изображен ее хозяин, юный, веселый, полный молодой веры и мечты.